

ХОРХЕ ЛУИС
БОРХЕС



II

Annotation

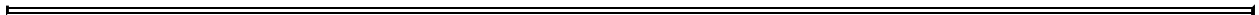
Произведения, входящие в состав этого сборника, можно было бы назвать рассказами-притчами. А также — эссе, очерками, заметками или просто рассказами. Как всегда, у Борхеса очень трудно определить жанр произведений. Сам он не придавал этому никакого значения, создавая свой собственный, не похожий ни на что «гипертекст». И именно этот сборник (вкупе с «Создателем») принесли Борхесу поистине мировую славу. Можно сказать, что здесь собраны лучшие образцы борхесовской новеллистики.

- [ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС](#)
 - [Бессмертный](#)
 - [Мертвый](#)
 - [Богословы](#)
 - [История воина и пленницы](#)
 - [Биография Тадео Исидоро Круса](#)
 - [Эмма Цунц](#)
 - [Дом Астерия](#)
 - [Вторая смерть](#)
 - [Deutsches requiem](#)
 - [Поиски Аверроэса](#)
 - [Заир\[87\]](#)
 - [Письмена бога](#)
 - [Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте](#)
 - [Два царя и два их лабиринта\[97\]](#)
 - [Ожидание](#)
 - [Человек на пороге](#)
 - [Алеф](#)
 - [Послесловие](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)

- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)

- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)



ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС
АЛЕФ

Бессмертный

*Solomon saith: There is no new thing upon the earth.
So that as Plato had an imagination, that all knowledge was
but remembrance; so Solomon giveth his sentence, that all
novelty is but oblivion.*^[1]

Francis Bacon. Essays L VIII

В Лондоне, в июне месяце 1929 года, антиквар Жозеф Картафил^[2] из Смирны предложил княгине Люсенж шесть томов «Илиады» Попа (1715–1720) форматом в малую четверть. Княгиня приобрела книги и, забирая их, обменялась с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимся чертами лица^[3]. Столь же легко, сколь и неправильно, он говорил на нескольких языках; с английского довольно скоро он перешел на французский, потом — на испанский, каким пользуются в Салониках^[4], а с него — на португальский язык Макао^[5]. В октябре княгиня узнала от одного приезжего с «Зевса», что Картафил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе «Илиады» находилась эта рукопись.

Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод.

I

Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса, в Стовратых Фивах, в дни, когда императором был Диоклетиан. К тому времени я успел бесславно повоевать в только что закончившихся египетских войнах и был трибуном в легионе, расквартированном в Беренике, у самого Красного моря; многие из тех, кто горел желанием дать разгуляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого колдовства. Мавританцы были повержены; земли, ранее занятые мятежными городами, навечно стали владением Плутона^[6]; и тщетно

поверженная Александрия молила Цезаря о милосердии; меньше года понадобилось легионам, чтобы добиться победы, я же едва успел глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошел меня, не дал удачи, и я, должно быть с горя, отправился через страшные, безбрежные пустыни на поиски потаенного Города Бессмертных.

Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в саду. Я не спал — всю ночь что-то стучалось мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся; рабы мои спали, луна стояла того же цвета, что и бескрайние пески вокруг. С востока приближался изнуренный, весь в крови всадник. Не доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул с коня на землю. Слабым алчущим голосом спросил он на латыни, как зовется река, чьи воды омывают стены города. Я ответил, что река эта — Египет и питается она дождями. «Другую реку ищу я, — печально отозвался он, — потаенную реку, что смывает с людей смерть!» Темная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах верят: если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие^[7]. И добавил, что там, на краю земли, стоит Город Бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца; кто-то припомнил елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго; кто-то — вершины, на которых рождается река Пактол и обитатели которых живут сто лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил ли я хоть на минуту в Город Бессмертных, думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать его. Флавий, проконсул Гетулии^[8], дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с собой и наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности.

Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсиное и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну троглодитов^[9], которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом; страну гарамантов, у которых женщины общие, а пища — льяятина; земли Авгилы, которые почитают только Тартар^[10]. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море-океану, на ее склонах растет молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры,

свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невероятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь — отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обративши лицо к луне, — лихорадка сожгла их; другие вместе с загнившей в сосудах водой испили безумие и смерть. Начались побеги, а немного спустя — бунты. Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колебания продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого товарища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного критянина нанесла мне увечье. Несколько дней, я брел, не встречая воды, а может, то был всего один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ошетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый, невысокий лабиринт: в самом его центре стоял кувшин; мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно: я умру, не добравшись до кувшина.

II

Когда я наконец выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу связанными руками в продолговатой каменной нише, размерами не более обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукою человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка; а на другом его берегу в лучах заходящего или восходящего солнца сверкал — то было совершенно очевидно — Город Бессмертных. Я увидел стены, арки, фронтисписы и площади: город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотня ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На песке виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их: они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов; я бы

не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями.

Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул: песчаный берег был футах в тридцати от меня, и я со связанными за спиной руками, зажмурившись, бросился вниз по склону. Погрузил окровавленное лицо в мутную воду. И пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески: «*Богатые жители Зелы, пьющие воды Эзена...*»^[11]

Не знаю, сколько ночей и дней прокатились надо мной. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и нагой, лежал я на неведомом песчаном берегу, не сопротивляясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой. А троглодиты, в своей дикости наивные как дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и смог выклянчить или украсть — это я-то, Марк Фламиний Руф^[12], военный трибун римского легиона, — свой первый кусок мерзкого змеиного мяса.

Страстное желание увидеть Бессмертных, прикоснуться к камням Города сверхчеловеков, почти лишило меня сна. И, будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали: сперва я заметил, что они следят за мной; потом увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос — не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел ручей, перегороженный наносами, и направился к Городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они (как и все остальное племя) были низкорослы и внушали не страх, но отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни; ослепленный огромностью Города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на черную тень его стен, взрезавшую желтый песок причудливыми и восхитительными острями. И остановился в священном ужасе. Явившийся мне город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать, когда займется день.

Я уже говорил, что город стоял на огромной каменной скале. И ее крутые склоны были так же неприступны, как и стены города. Я валился с

ног от усталости, но не мог найти в черной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере; внутри пещеры оказался колодец, в темень его пропасти низвергалась лестница. Я спустился по ней; пройдя путаницей грязных переходов, очутился в сводчатом помещении; в потемках стены были едва различимы. Девять дверей было в том подземелье; восемь из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье; девятая через другой лабиринт выводила в другое подземелье, такой же округлой формы, как и первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов, — от тревоги и неудач, преследовавших меня, их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина, никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров, только шорох подземного ветра, непонятно откуда взявшегося; беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему, я начал свыкаться с этим странным миром; и не верил уже, что может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с девятью дверями и бесконечных разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей, помню только: был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чем тоскую — о городе ли, где родился, или об отвратительном поселении дикарей.

В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход, и луч света сверху издали упал на меня. Я поднял уставшие от потемок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, останавливаясь лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различал капители и астрагалы, треугольные и округлые фронтоны, неясное величие из гранита и мрамора. И оказался вознесенным из слепого владычества черных лабиринтов в ослепительное сияние города.

Я увидел себя на маленькой площади, вернее сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно-единственное здание неправильной формы и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой земли. И подумалось, что такая старина (хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз) не иначе, как дело рук Бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путаного дворца. (Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял

причину необычайной навалившейся на меня усталости.) *Этот дворец — творение богов*, подумал я сначала. Но, оглядев необитаемые покои, поправился: *Боги, построившие его, умерли*. А заметив, сколь он необычен, сказал: *Построившие его боги были безумны*^[13]. И сказал — это я твердо знаю — с непонятным осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые: ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности. Я только что выбрался из темного лабиринта, но светлый Город Бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели. А в архитектуре дворца, который я осмотрел, как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридоры, тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. Не знаю, точно ли все было так, как я описал; помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. *Этот город, подумал я, ужасен; одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаенном сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды. Пока он есть, никто в мире не познает счастья и смысла существования*. Я не хочу открывать этот город; хаос разноязыких слов, тигриная или воловья туша, кишачая чудовищным образом сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками, — вот что такое этот город.

Не помню, как я пробирался назад через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх: как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном Городе Бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего, но забыл я все, должно быть, по собственной воле — так, наверное, тяжело было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда.

Те, кто внимательно читал рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака, до самой зубчатой тени городских стен. Когда же я прошел последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке, а потом стирал цепочку из знаков, похожих на буквы, которые снятся во сне, и кажется, вот-вот разберешь их, но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмена, а потом понял: нелепо думать, будто люди, не дошедшие еще и до языка, имеют письменность. Кроме того, все знаки были разные, а это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял. А потом вдруг, словно ему опротивела игра, стер все ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение (а может, так велико и страшно было мое одиночество), и я допустил мысль, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо палило, и, когда мы при свете первых звезд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскален. Дикарь шел впереди; этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может, даже и повторять отдельные слова. Собака и лошадь, размышлял я, способны на первое; многие птицы, к примеру соловей цезарей, умели и второе. Как бы ни был груб и неотесан разум человека, он все же превышает способности существ неразумных.

Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришел Аргус, старый умирающий пес из «Одиссеи», и я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать свое имя. Но, как ни старался, снова и снова терпел поражение. Все было напрасно — и принуждение, и строгость, и настойчивость. Неподвижный, с остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить. Он был рядом, но казалось — очень далеко. Словно маленький, разрушающийся сфинкс из лавы, он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предрассветных сумерек к вечерним. Я был уверен: не может он не понимать моих намерений. И вспомнил: эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают нарочно, только потому, чтобы их не заставляли работать, и приписал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам; и восприятия у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует все иначе и с другими предметами; и, может, для него даже не существует предметов, а вместо них головокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык без существительных, из одних глагольных форм и

несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днем, а с ними — годы, и однажды утром произошло нечто похожее на счастье. Пошел дождь, неторопливый и сильный.

Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой, как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии^[14] ко мне текла река (водам которой я некогда возвратил золотую рыбку), текла, чтобы освободить меня; лежа на желтом песке и черном камне, я слушал, как она приближается; я проснулся от свежести и густого шума дождя. Нагим я выскочил наружу. Ночь шла к концу; под желтыми тучами все племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, иступленно подставляло тела животворным струям. Подобно жрецам Кибелы^[15], на которых снизошла божественная благодать, Аргус стонал, вперив взор в небеса; потоки струились по его лицу, и то был не только дождь, но (как я потом узнал) и слезы. «Аргус, — крикнул я ему, — Аргус!»

И тогда, с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и позабытое, Аргус сложил такие слова: *Аргус, пес Улисса*. И затем, все так же, не глядя на меня: *пес, выброшенный на свалку*.

Мы легко принимаем действительность, может быть, потому, что интуитивно чувствуем: ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из «Одиссеи». Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос.

Очень мало, ответил он. Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я ее сложил.

IV

Все разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались Бессмертными; мутный песчаный поток — той самой Рекой, что искал всадник. А город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову, и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только одно: они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли Бессмертные; после него начался новый этап: придя к выводу, что всякое деяние напрасно, Бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нем —

ушли в пещеры. А там, погрузившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир.

Все это Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребенку. Рассказал и о своей жизни в старости, и об этом своем последнем странствии, в которое отправился, движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей, что не знают моря, не приправляют мяса солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в городе Бессмертных. А когда город разрушили, именно он подал мысль построить тот, другой. Ничего удивительного: всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем — войну мышей и лягушек^[16]. Подобно богу, который сотворил сперва вселенную, а потом Хаос.

Жизнь Бессмертного пуста; кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти; а чувствовать себя Бессмертным — божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всем множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но то, как они почитают свое первое, земное существование, доказывает, что верят они только в него, а все остальные, бесчисленные, предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то, первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми религиями Индостана; круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующей, и ни одна из них не определяет целого... Наученная опытом веков, республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости и почти презрении ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благостыню, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх чет и нечет, выпадая почти поровну, уравниваются, талант и бездарность у Бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга; и может стать, безыскусно сложенная «Песнь о моем Сиде»^[17] — необходимый противовес для одного-единственного эпитета из «Эклог»^[18] или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть рождена невидимым глазу рисунком и венчать или, напротив, зачинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто творил зло, что в грядущие века оборачивалось добром или когда-то было им во времена прошедшие... А если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела

справедливы, но в то же время они — совершенно никакие. А значит, нет и критериев, ни нравственных, ни рациональных. Гомер сочинил «Одиссею»; но в бескрайних просторах времени, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили «Одиссею». Каждый человек здесь никто, и каждый бессмертный — сразу все люди на свете. Как Корнелий Агриппа: я — бог, я — герой, я — философ, я — демон, я — весь мир, на деле же это утомительный способ сказать, что меня, как такового, — нет.

Этот взгляд на мир как на систему, где все обязательно компенсируется, повлиял на Бессмертных всемерно. Прежде всего, они потеряли способность к состраданию. Я упоминал заброшенные каменоломни по ту сторону реки; один из Бессмертных свалился в самую глубокую; он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его; однако прошло семьдесят лет, прежде чем ему бросили веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкой из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить, и именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир. Как, например, в то утро — древнее, простейшее наслаждение: дождь. Но подобные сбои были чрезвычайно редки; все Бессмертные способны сохранять полнейшее спокойствие; один, помню, никогда не поднимался даже на ноги: птица свила гнездо у него на груди.

Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не уравнивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность, однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может, в конце X века мы расселились по лицу Земли. Вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем: *Есть река, чьи воды дают бессмертие; а следовательно, есть на Земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают.* Число рек на Земле не безгранично; Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведаст воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку.

Смерть (или память о смерти) наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно; каждое совершаемое деяние может оказаться последним; нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность — невозвратимую и роковую. У Бессмертных же, напротив, всякий поступок (и всякая мысль) — лишь отголосок других, которые уже случались в

затерявшемся далеке прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего, что бы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль, грусть, освященная обычаями скорбь не властны над Бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера; кажется, мы даже не простились.

V

И я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту^[19], не помню, на чьей стороне — не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе шесть или чуть более футов английской земли. В VII веке хиджры, по мусульманскому летосчислению, в предместье Булак я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом, которого не знаю, семь путешествий Синдбада и историю Бронзового города. В Самарканде, в тюремном дворе, я много играл в шахматы. В Биканере^[20] я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. В 1638 году я был в Коложваре^[21], потом — в Лейпциге. В Абердине^[22] в 1714 году я выписал «Илиаду» Попа в шести томах; помню, частенько читал ее и наслаждался. Году в 1729-м мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики по имени, кажется, Джамбаттиста^[23]; его доводы показались мне неопровержимыми. Четвертого октября 1921 года «Патна»^[24], который вез меня в Бомбей, должен был встать в порту у Эритрейского побережья^[25]. Я сошел на берег; мне вспомнились другие утра — утра давних времен, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном, а лихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалеку от города я увидел прозрачный ручей; повинувшись привычке, я испил воды из того ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам, счастливый, я молча наблюдал за бесценным чудом: капля крови медленно выступала на ладони. «Я снова смертен, — повторял я, — снова похож на других людей». Ту ночь я спал до самого рассвета.

Год спустя я просмотрел эти страницы. Все, казалось бы, правда, однако в первой главе и в некоторых абзацах других глав мне почудилась

фальшь. Возможно, виною тому — злоупотребление подробностями; такое, я заметил, случается с поэтами, и ложь отравляет все, ибо подробностями могут изобиловать дела, но не память... Однако полагаю, что я раскрыл и причину более глубокую. Изложу ее, пусть меня даже сочтут фантазером.

История, которую я рассказал, кажется нереальной оттого, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя различными людьми. В первой главе всадник хочет знать название реки, что оmyвает стены Фив; Фламиний Руф, ранее назвавший город Гекатомфилосом, говорит, что имя реки — Египет; ни одно из этих высказываний не принадлежит ему, они принадлежат Гомеру, который в «Илиаде» называет Фивы Гекатомфилосом, а в «Одиссее», устами Протея и Улисса, неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлянин, отведав воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески; слова эти — также из Гомера, их можно отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем, в головоломном дворце, он говорит об осуждении, чуть ли не о «терзаниях совести»; эти слова также принадлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня беспокоили; другие же, эстетического характера, позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе; там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествия Синдбада-Морехода и в Абердине выписал английскую «Илиаду» Попа. Там говорится, *inter alia*^[26]: «В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии». Ни одно из этих свидетельств не ложно; однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы. Свидетельства, следующие за этим, еще более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них; я это сделал, потому что знал: они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руфа. Но таковы в устах Гомера; удивительно, что Гомер в XIII веке записывает приключения Синдбада, другого Улисса, и находит, по прошествии многих столетий, в северном царстве, где говорят на варварском языке, то, что изложено в его «Илиаде». Что касается фразы, содержащей название Биканер, то видно, что она сложена человеком, искушенным в литературе, жаждущим (как и автор перечня морских судов) блеснуть ярким словом^[27].

Когда близится конец, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем

символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс^[28]; скоро стану всеми людьми — умру.

P.S. Год 1950-й. Среди комментариев, вызванных к жизни вышеупомянутой публикацией, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библейски озаглавлен «A coat of many colours»^[29] (Манчестер, 1948) и написан ядовитым пером доктора Наума Кордоверо. Труд насчитывает около ста страниц. И в нем говорится о центах^[30] из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни; поминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Сенеки, сочинение «Virgilius evangelizans» Александра Росса, приемы Джорджа Мура и Элиота и, наконец, «повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картафилу». В первой же его главе автор обнаруживает заимствования из Плиния (Historia naturalis, V, 8); во второй — из Томаса Де Куинси («Сочинения», III, 439); в третьей — из письма Декарта^[31] послу Пьеру Шану; в четвертой — из Бернарда Шоу («Back to Methuselah», V). И на основании этих заимствований, или краж, делает вывод: весь документ не что иное, как апокриф.

На мой взгляд, вывод этот неприемлем. *Когда близится конец*, пишет Картафил, *от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Слова, слова, выскочившие из своих гнезд, изувеченные чужие слова, — вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками.*

Мертвый

То, что бедный драчун «компадрито» из пригорода Буэнос-Айреса, не имеющий иной доблести, кроме удали напоказ, приживется на дальних конских пастбищах у Гранины с Бразилией и станет главарем контрабандистов, кажется вещью абсолютно немыслимой. Но тем, кто так думает, я хочу рассказать о судьбе Бенхамина Оталоры, который, наверное, уже предан забвению в квартале Бальванера и который умер неподалеку от Риу-Гранди-ду-Сул от пули, как и следовало ожидать. Мне неизвестны подробности его авантюрной истории. Когда я буду лучше осведомлен, моя повесть станет точной и полной. А пока, может быть, пригодится это краткое изложение.

Бенхамину Оталоре в 1891 году исполняется девятнадцать лет. Это парень с маленьким лбом, с ясными честными глазами и баскским упрямством. Один удавшийся поединок заставляет его уверовать в свои силы. Он отнюдь не взволнован кончиной противника и надобностью срочно бежать из отечества. Местный каудильо снабжает его запиской к некоему Асеведо Бандейре, в Уругвае. Оталора садится в лодку, гребет сквозь бурю, под раскатами грома. На следующий день он уже бродит по Монтевидео, отгоняя грусть или, может быть, вовсе о ней не ведая. Асеведо Бандейры нигде не видно. К полуночи у винной стойки в одном из альмасенов на Пасодель-Молино перед ним разгорается ссора погонщиков. Блещет нож. Оталоре не узнать, кто прав и кто виноват, но его опьяняет запах опасности, как других опьяняют карты и музыка. Он бросается в драку и парирует ловкий удар пеона, предназначенный человеку в пончо и в темной шляпе, который оказывается Асеведо Бандейрой. (Оталора, узнав об этом, рвет письмо в клочья, ибо предпочитает быть должным только самому себе.) Асеведо Бандейра силен и крепок, но оставляет обманчивое впечатление сутулого; и его всегда настороженном лице видятся негр, еврей и индеец, в фигуре — обезьяна и тигр. Шрам через щеку и лоб — еще один яркий штрих его внешности, впрочем, как и черная щетка усов.

Ссора — под воздействием спиртного — прекращается так же внезапно, как начинается. Оталора пьет вместе с погонщиками, затем с ними идет на гулянье, затем — в один дом в старом городе, уже на восходе солнца. В заднем патио, на голой земле, люди устраиваются на ночлег, положив седла под голову. Невольно Оталора сравнивает эту ночь с предыдущей; теперь он среди приятелей, теперь под ногами твердая почва.

Его, правда, чуть тревожат угрызения совести: нет у него тоски по Буэнос-Айресу. Он проспал бы до самой заутрени, но его будит тот же сельчанин, который, выпив лишнего, напал на Бандейру. (Оталора вспоминает, что позже этот пеон вместе со всеми пил и гулял ночь напролет, а Бандейра дал ему место рядом с собой и угощал до потери сознания.) Человек говорит, что хозяин его призывает. В своеобразном кабинете с выходом прямо в подъезд (Оталора никогда не видел подъезд с боковыми дверями) его ждет Асеведо Бандейра вместе с розовокожей и рыжеволосой надменной женщиной. Бандейра хвалит его, протягивает ему рюмку каньи и опять повторяет, что он храбрый парень, и предлагает идти на Север вместе со всеми перегонять табуны. Оталора соглашается. Утро его застает в пути, он отправляется в Такуарембо.

И начинается для Оталоры совсем новая жизнь, жизнь на равнине с зорями во всю ширь небес и с тяжелыми днями, пахнущими конским потом. Такая жизнь для него нова и порою жестока, но она у него в крови: ибо так же, как другие народы околдованы и проникнуты морем, так мы (в том числе человек, приводящий это сравнение) сердцем влечемся к бескрайней равнине, гулко звенящей под копытами лошади. Оталора вырос в квартале возчиков и свежевателей; потому и года не проходит, как он становится гаучо. Обучается крепко сидеть в седле, загонять дикие табуны, свежевать туши, бросать лассо, обрывающее бег, и болеадоры, валящие с ног; обучается не поддаваться сну и холоду, ветру и шлицу, гнать скот с криком и посвистом.

Только однажды в пору своего ученичества видит он Асеведо Бандейру, но всегда ощущает его присутствие, потому что быть «человеком Бандейры» — значит быть тем, кого чтят и боятся, и потому что гаучо говорят тому, кто чем-нибудь отличится: «А у Бандейры получается лучше». Ходят слухи, что Бандейра родился на том берегу Куарейма, в Риу-Гранди-ду-Сул. Это, казалось бы, унижительное — в глазах гаучо — обстоятельство, тем не менее его возвышает, ибо одарило его непроходимой сельвой, страшными топями, путаными и почти бесконечными тропами. Со временем Оталора видит, что занятия Бандейры многообразны, а основное из них — контрабанда. Быть погонщиком — значит оставаться прислужником. И Оталора решает сделаться контрабандистом. Двум из его товарищей предстояло однажды ночью пересечь границу и вернуться с партией каньи. Оталора одного из них вызывает на ссору, ранит и отправляется вместо него. Движет им честолюбие, смешанное с угодничеством. «Пусть до хозяина дойдет наконец (думает он), что я стою побольше его уругвайцев, всех вместе

взятых».

Проходит еще один год, прежде чем Оталора снова оказывается в Монтевидео. Они едут берегом, дальше — по городу (который кажется Оталоре колоссальным) и добираются до жилища хозяина. Люди складывают седла и сбрую в заднем патио. Дни идут, но Оталора не видит Бандейры. Поговаривают вполголоса, что ему нездоровится. Негр то и дело бегают наверх, в его спальню, с мате и чайником. Как-то вечером эти хлопоты препоручают Оталоре. Он чувствует себя чуть униженным, но доволен.

В спальне не убрано и сумеречно. Есть там балкон, выходящий на запад; есть длинный стол с живописной грудой хлыстов, кнутовищ, поясов, всяких ножей и ружей; есть там и тусклое старое зеркало. Бандейра лежит на спине, спит и стонет. Луч заходящего солнца мягко очерчивает его лица. На светлом просторном ложе оно кажется меньше и темнее. Оталора замечает белые волосы, слабость, усталость, борозды прожитых лет. Его возмущает, что ими командует этот старик. Думает, что одним ударом можно было бы разделаться с ним, и тут видит в зеркале — кто-то входит. Это женщина с рыжими косами. Она полуодета и боса и смотрит на него холодно, с любопытством. Бандейра приподнимается. Пока он спрашивает о сельских делах и опустошает мате — один за другим, его пальцы гладят волосы женщины. Наконец Оталоре позволено выйти.

Через несколько дней хозяин велит им ехать на Север. Они добираются до одинокой усадьбы, какие часто встречаются на бескрайней равнине. Ни деревья, ни речка ее не живут, а солнце нещадно калит и утром, и вечером. Рядом — каменные корали для лошадей, отощавших и неухоженных. «Вздохи» — так прозывается эта усадьба.

Оталора слышит в кругу погонщиков, что Бандейра скоро прибудет из Монтевидео. Спрашивает — зачем. Объясняют, есть, мол, тут один чужеземец, что заделался гаучо, да желает выйти в большие начальники. Оталора видит, что это шутка, но ему нравится, что подобная шутка уже возможна. Позже он слышит, что Бандейра поссорился с представителем власти и тот отказался от его услуг. Известие пришлось Оталоре по душе.

Прибывают ящики с огнестрельным оружием, прибывают серебряный таз с кувшином для туалета женщины, прибывают занавеси из вышитой камки; прибыл однажды утром из-за дальних холмов мрачный всадник с густой бородой и в пончо. Зовут его Ульпиано Суарес, он капанга, то есть телохранитель Асеведо Бандейры. Говорит неохотно, с бразильским акцентом. Оталора не знает, чем объяснить его замкнутость — неприязнью, презрением или просто грубостью. Но зато знает: чтобы осуществить

замысел, надо заручиться дружбой Суареса.

А потом в жизнь Бенхамина Оталоры входит гнедая лошадь с черным хвостом и черной гривой, приведенная с Юга Асеведо Бандейрой. Сбруя ее украшена серебром, а подседельник оторочен тигровым мехом. Эта лихая лошадь — символ могущества патрона, и потому она стала предметом зависти парня, который возжелал еще — зло, неотступно — женщину с розовой кожей. Женщина, сбруя и лошадь — вот атрибуты или неотъемлемые принадлежности человека, с которым он хочет покончить.

Здесь история усложняется и усугубляется. Бандейра обладает дьявольским умением подавлять и сбивать человека с толку, ведя разговор то всерьез, то в шутку. И Оталора намерен использовать этот его двойственный метод при решении своей трудной задачи. Он намерен мало-помалу вытеснить Асеведо Бандейру. Участвуя в общих опасных делах, он добивается дружбы Суареса. И поверяет ему свой план. Суарес обещает помочь. Многое потом происходит, но мне известны лишь отдельные факты. Оталора не повинуетсЯ Бандейре, обходит, извращает и забывает его приказы. Кажется, сама судьба принимает участие в заговоре и ускоряет развязку. Однажды пополудни в степи близ Такуарембо завязывается перестрелка с людьми из Риу-Гранди. Оталора занимает место Бандейры и ведет уругвайцев вместо хозяина. Пуля ему пробивает плечо, но тем вечером Оталора возвращается во «Вздохи» на гнедой лошади хозяина, тем вечером его кровь пачкает тигровый мех, и той ночью он спит с розовокожей женщиной. В других рассказах порядок этих событий иной и не указывается, что случились они в один день.

Бандейра, однако, номинально считается предводителем. Он отдает приказы, которые не выполняются. Бенхамин Оталора его не трогает — не то из лени, не то из жалости.

Последняя сцена истории происходит во время пирушки в ночь на новый, 1894 год. Этой ночью люди из «Вздохов» пьют будоражащие напитки и едят зажаренного барана. Кто-то старательно и нескончаемо бренчит на гитаре милонгу. Во главе стола пьяный Оталора ликует и радуется, чувствуя себя на седьмом небе; эта головокружительная высь — предначертание его рока. Бандейра угрюмо сидит среди криков, наблюдая, как льется ночное веселье. Когда колокол пробил двенадцать, он поднимается, словно о чем-то вспомнил. Встает и тихо стучится в дверь к женщине. Она сразу же открывает, словно ждала сигнала. Выходит, полуодета и боса. Проникновенным, елеиным голосом хозяин ей приказывает:

— Коли вы с портеньо друг друга так любите, награди его поцелуем

сейчас, у всех на виду.

Иначе грозит учинить расправу. Женщина медлит, но два человека подхватывают ее под руки и швыряют к Оталоре. Обливаясь слезами, она целует ему грудь и лицо. Ульпиано Суарес вытаскивает револьвер. Оталора успевает понять перед смертью, что его с самого начала предали, что он был заранее приговорен, что ему разрешили любовь, власть и триумф потому, что уже считали мертвым, потому, что для Бандейры он был уже мертв.

Суарес стреляет почти с презрением.

Богословы

Разорив сад, осквернив чаши и алтари, гунны верхом на лошадях ринулись в монастырскую библиотеку, изорвали в клочья непонятные для них книги и с бранью сожгли их, видимо опасаясь, что в буквах таятся оскорбления их Богу, кривой железной сабле. Сгорели палимпсесты и кодексы, но внутри костра, среди пепла, осталась почти невредима двенадцатая книга «De Civitas Dei»^[32], где повествуется, что Платон в Афинах учил, будто в конце веков все возродится в прежнем своем виде и он будет здесь, в Афинах, перед той же аудиторией, снова проповедовать это же учение. К пощаженному огнем тексту относились с особым пиететом, и те, кто его читал и перечитывал в отдаленной этой провинции, и думать забыли о том, что автор упомянул это учение, лишь чтобы более основательно его опровергнуть. Век спустя Аврелиан, коадьютор Аквилей^[33], узнал, что на берегах Дуная недавно возникшая секта «монотонов» (называвшихся также «ануляры») исповедует веру в то, что история — круг и нет ничего, что не существовало бы прежде и не будет существовать в будущем. В горных областях Колесо и Змея^[34] вытеснили Крест. Страх овладел всеми, но утешением послужил слух, что Иоанн Паннонский, снискавший известность трактатом о седьмом атрибуте Бога, готовится сокрушить мерзостную ересь.

Аврелиана эти вести огорчили, особенно последняя. Он знал, что в богословских материях любое новое слово сопряжено с риском, но затем рассудил, что тезис о круговом времени слишком необычен, слишком удивителен и посему риск тут невелик. (Опасаться надо тех ересей, которые можно спутать с ортодоксией.) Все же ему было неприятно вмешательство — почти наглое — Иоанна Паннонского. Двамя годами раньше сей муж в пространном сочинении «De septima affectione Dei sive de aeternitate»^[35] узурпировал тему из области Аврелиана; теперь же, словно проблема времени была в его ведении, он собирался наставить на путь истинный — возможно, аргументами Прокруста^[36], противоядиями пострашнее. чем сам яд Змеи, — этих ануляров... В ту ночь Аврелиан, листая древний диалог Плутарха об упадке оракулов, обнаружил в двадцать девятом параграфе насмешку над стоиками, предполагавшими существование бесконечного множества миров, с бессчетными солнцами, лунами, Аполлонами, Дианами и Посейдонами. Свою находку Аврелиан

счел счастливым предзнаменованием: он решил опередить Иоанна Паннонского и сокрушить еретиков, чтящих Колесо.

Иногда мужчина добивается любви женщины, чтобы забыть о ней, чтобы больше о ней не думать; так и Аврелиану хотелось превзойти Иоанна Паннонского, чтобы избавиться от неприязни, которую испытывал к нему, но отнюдь не для того, чтобы причинить ему зло. Сама работа над сочинением, построение силлогизмов и придумывание едких выпадов, все эти «*него*»^[37] и «*autem*»^[38] и «*nequamquam*»^[39] умеряли раздражение, помогали забыть о неприязни. Он строил длинные, запутанные периоды, загроможденные вставными предложениями, в которых небрежность слога и солецизмы^[40] были как бы выражением презрения. Неблагозвучность он сделал своим орудием. Предвидя, что Иоанн Паннонский будет сокрушать ануляров в пророчески-торжественном тоне, Аврелиан, дабы избежать сходства, избрал тон издевки. Августин писал, что Иисус — это прямой путь^[41], спасающий нас от кругов лабиринта, в коем блуждают безбожники: Аврелиан, как старательный ученик, сравнил их с Иксионом^[42], с печенью Прометея, с Сизифом, с фиванским царем, увидевшим два солнца, с заиканием, с белкой, с зеркалами, с эхом, с мулами у нории и с другими силлогизмами. (Языческие легенды все еще жили, низведенные до уровня стилистических украшений.) Подобно всякому владельцу библиотеки, Аврелиан чувствовал вину, что не знает ее всю; это противоречивое чувство побудило его воспользоваться многими книгами, как бы таившими упрек в невнимании. Так, он сумел вставить пассаж из «*De principiis*»^[43] Оригена, опровергающий мнение, будто Иуда Искарот снова предаст господу, а Павел будет в Иерусалиме снова присутствовать при мученической гибели Стефана, и еще другой пассаж из «*Academica priora*»^[44] Цицерона, где высмеяны люди, воображающие, будто в то время, когда он беседует с Лукуллом, бесконечное множество других Лукуллов и других Цицеронов говорят в точности то же самое в бесчисленных мирах, подобных нашему. Вдобавок Аврелиан обрушил на монотонов упомянутый текст Плутарха и свое негодование по поводу того, что, мол, на язычника *lumen naturae*^[45] оказал большее действие, чем на них слово божье. Труд этот занял у него девять дней, а на десятый ему вручили перевод опровержения, сочиненного Иоанном Паннонским.

Оно было почти смехотворно кратким — Аврелиан взглянул на него с презрением, а затем со страхом. В первой части содержалось толкование заключительных стихов девятой главы Послания к евреям, где сказано, что Иисус не приносил себя в жертву многократно от начала мира, но

совершил это однажды к концу веков.

Во второй части было приведено библейское упоминание о тщетном многословии язычников (Матфей. 6:7) и то место из седьмой книги Плиния, где говорится, что во всей вселенной не найти двух одинаковых лиц. Точно так же, заявлял Иоанн Паннонский, не найти и двух одинаковых душ, и самый гнусный грешник столь же драгоценен, как кровь, ради него пролитая Иисусом Христом. Поступок одного человека, утверждал он, имеет больше веса, чем все девять концентрических небес, и воображать, будто он может исчезнуть, а потом возникнуть снова, — значит проявить вопиющее легкомыслие. Время не восстанавливает то, что мы утратили: вечность хранит это для райского блаженства, но также для огня ада. Трактат был написан ясно и всеобъемлюще — казалось, он сочинен не конкретной личностью, но как бы «всяким человеком» или — быть может — всем человечеством.

Аврелиан испытал острое, почти физическое чувство унижения. Ему захотелось уничтожить или переделать свой труд, но затем, движимый обозленной честностью, он отправил его в Рим, не изменив ни одной буквы. Несколько месяцев спустя, когда собрался Пергамский собор, опровергнуть заблуждения монотонов поручили (как и следовало ожидать) Иоанну Паннонскому; его ученого, сдержанного по тону опровержения оказалось достаточно, чтобы ересиарха Эвфорбия осудили на сожжение. «Это уже происходило и произойдет снова, — сказал Эвфорбий. — Вы возжигаете не костер, но огненный лабиринт. Если бы здесь соединились все костры, на которые я восходил, они не уместились бы на земле, и ангелы ослепли бы. И это я говорил неоднократно». Потом он стал кричать, потому что огонь добрался до него.

Колесо пало, побежденное Крестом^[46], однако Аврелиан и Иоанн продолжали свою тайную войну. Оба сражались в одном и том же стане, оба жаждали той же награды, воевали против того же врага, но Аврелиан не мог написать ни слова, за которым не таилось бы безотчетное стремление превзойти Иоанна. Его страдания оставались невидимы — если тексты меня не обманывают, имя «другого» ни разу не появляется во многих томах Аврелиана, собранных в «Патрологии» Миня. (От сочинений Иоанна дошли всего-навсего двадцать слов.) Оба не одобряли анафем, провозглашенных вторым Константинопольским собором, оба осуждали ариан^[47], отрицавших божественную сущность Сына, оба подтверждали ортодоксальность «Христианской топографии»^[48] Косьмы, который учит, что земля, подобно еврейской скинии, имеет форму четырехугольника. На

беду, во всех четырех углах земли объявилась другая, бурно ширившаяся ересь. Родившись в Египте или Азии (свидетельства тут расходятся, и Буссе не желает принять доводы Гарнака), она заразила восточные провинции и воздвигла свои капища в Македонии, в Карфагене и в Трире. Казалось, она свирепствует повсеместно, — говорили, что в Британском епископстве перевернули распятия вверх ногами, а в Цезарее образ Господа заменили зеркалом^[49]. Эмблемами новых схизматиков были зеркало и обол.

Истории они известны под разными именами (спекуляры, абисмалы, каиниты), но самым общепринятым было «гистрионы», данное им Аврелианом и дерзостно ими подхваченное. Во Фригии их называли «симулякры», так же — и в Дардании. Иоанн Дамаскин именовал их «формы» — тут следует заметить, что этот пассаж не признан Эрфьордом. Нет такого ересоведа, который бы с изумлением не сообщал об их чудовищных обычаях. Многие гистрионы проповедовали аскетизм — некоторые увечили себя, подобно Оригену, другие жили под землею, в клоаках, иные вырывали себе глаза; иные («Навуходоносоры» из Нитрии) «ели траву, как волы, и волосы выросли у них, как у орла». От умерщвления плоти и самоистязания они нередко переходили к преступлению, в некоторых общинах процветало воровство, в иных убийство, в иных содомия, кровосмешение и скотоложство. Все они были богохульники, поносили не только христианского Бога, но даже таинственных богов своего пантеона. Они сочиняли священные книги, утрату которых оплакивают ученые. Сэр Томас Браун писал около 1658 года^[50]: «Время уничтожило горделивые гистрионические Евангелия, но не Оскорбления, коим было подвергнуто их Нечестие»; Эрфьорд предположил, что эти «оскорбления» (сохранившиеся в одном греческом кодексе) — они-то и суть утерянные Евангелия. Это кажется непонятным, если не знать космологию гистрионов.

В герметических книгах сказано: то, что есть внизу, подобно тому, что есть вверху, а то, что есть вверху, подобно тому, что есть внизу; в «Зогаре» говорится, что мир нижний — это отражение мира верхнего. Гистрионы основывали свое учение на извращении этой мысли. Они ссылались на Матфея 6:12 («Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим») и 11:12 («Царство небесное силой берется») в доказательство того, что земля воздействует на небо, и еще приводили из Послания к Коринфянам 13:12 («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло») как подтверждение того, что все нами видимое — ложь. Возможно, под влиянием монотонов они полагали, будто всякий человек — это два

человека, и истинный из них — тот, другой, на небе. Также воображали они, что наши поступки отбрасывают неистребимое обратное отражение — стало быть, если мы бодрствуем, тот, другой, спит; если блудим, другой — целомудрен; если грабим, другой — честен. После смерти мы соединимся с ним и будем им. (Какой-то отголосок этих учений есть у Блуа.) Другие гистрионы считали, что миру придет конец, когда исчерпается число его возможностей, и, поскольку повторений быть не может, праведник должен исключить (то есть совершить) наигнуснейшие дела, дабы таковые не запятнали будущего и дабы ускорить пришествие царства Иисусова. Это положение отрицали другие секты, утверждавшие, что в каждом человеке должна совершиться история всего мира. Большинству, как Пифагору, надлежит пройти через переселение во многие тела, прежде чем они получают освобождение; другие, протеики, «за срок одной жизни суть львы, драконы, кабаны, вода и дерево». Демосфен сообщает об очищении грязью^[51], которому подвергали посвящаемых в орфические мистерии; подобно этому протеики искали очищения злом. Они полагали, как Карпократ, что никто не выйдет из темницы, пока не отдаст последней полушки (Лука. 12:59), и обычно ободряли кающихся еще другим стихом: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и имели с избытком» (Иоанн. 12:10). Говорили они также, что не быть злодеем — сатанинская гордыня... Множество разноречивых мифологий придумали гистрионы: одни призывали к аскетизму, другие к распутству, и все — смущали умы^[52]. Теопомп, гистрион из Береники, отрицал все легенды: он утверждал, что всякий человек — это орган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир.

Еретики Аврелианова диоцеза принадлежали к тем, которые заявляли, что повторений во времени не бывает, а не к тем, которые утверждали, что всякий поступок отражается в небесах. Это обстоятельство было необычным, и в одном докладе римским властям Аврелиан о нем упомянул. Прелат, которому отправлял он это донесение, был духовником императрицы; все знали, что трудная его должность была сопряжена с запретом предаваться интимным радостям спекулятивного богословия. Но секретарь прелата — прежде коллега Иоанна Паннонского, ныне с ним враждовавший, — имел славу дотошного исследователя ересей; Аврелиан к докладу добавил изложение гистрионической ереси, встречавшейся в маленьких монастырях Генуи и Аквилеи. Написав несколько абзацев, он собирался изложить ужасный тезис, что нет двух одинаковых мгновений, и тут перо его остановилось. Он не мог найти нужную формулировку.

Поучения новой ереси («Хочешь увидеть то, чего глаза человеческие не видели? Посмотри на луну. Хочешь услышать то, чего уши не слышали? Послушай крик птицы. Хочешь дотронуться до того, чего не трогала рука человека? Потрогай землю. Истинно говорю, что Бог еще не создал мир») были чересчур напыщенными и метафоричными для пересказа. И вдруг в уме его возникло предложение из двадцати слов. Он радостно его записал, и тотчас же его кольнуло подозрение, что формулировка эта — не его. На другой день он вспомнил, что прочитал ее много лет назад в «Adversus annulares»^[53], трактате Иоанна Паннонского. Он проверил цитату — да, она была там. Аврелианом овладели мучительные колебания. Изменить или убрать эти слова означало бы ослабить выразительность; оставить их будет плагиатом у ненавистного ему человека; указать источник будет доносом. Он воззвал к небесам. Под вечер следующего дня его ангел-хранитель продиктовал компромиссное решение. Аврелиан те слова сохранил, но сопроводил их таким предупреждением: «То, о чем ныне брешут ересиархи, дабы смутить веру, сказал в нашем веке некий ученийший муж, более по недомыслию, нежели из греховности». Потом случилось то, чего он опасался, чего ждал, чего нельзя было предотвратить. Аврелиану пришлось открыть, кто этот муж. Иоанн Паннонский был обвинен в приверженности к ереси.

Четыре месяца спустя кузнец с Авентина, обольщенный лживыми уверениями гистрионов, взвалил на плечи своему маленькому сыну огромный железный шар, чтобы его двойник взлетел ввысь. Ребенок погиб. Ужас, вызванный этим преступлением, обязал судей Иоанна к неукоснительной строгости. Тот не пожелал отречься от своих слов и повторял, что отрицание его мнения ведет к губительной ереси монотонов. Он не понимал (или не хотел понимать), что говорить о монотонах бессмысленно — о них давно забыли. С упрямством, отчасти старческим, он щедро приводил наиболее блестящие периоды из прежнего своего полемического труда, но судьи даже не слушали того, чем некогда восхищались. Иоанну следовало постараться очистить себя от малейшего подозрения в гистрионизме, а он доказывал, что мысль, за которую его обвиняют, строго ортодоксальна. Он спорил с людьми, от решения которых зависела его судьба, и еще допустил величайшую оплошность — спорил с блеском и иронией. Двадцать шестого октября, после обсуждения, длившегося три дня и три ночи, его приговорили к смерти на костре.

Аврелиан присутствовал при казни — отказаться означало бы признать себя виновным. Местом казни был холм, на зеленой вершине которого стоял глубоко вкопанный в землю столб, обложенный охапками

дров. Чиновник прочитал решение трибунала. Под лучами полуденного солнца Иоанн Паннонский лежал лицом в пыли, издавая звериный вой. Он цеплялся за землю, но палачи схватили его, раздели и наконец привязали к столбу. На голову ему надели пропитанный серой венок из соломы, к груди привязали экземпляр зловредной книжицы «Adversus annulares». Накануне ночью прошел дождь, дрова горели плохо. Иоанн Паннонский молился по-гречески, потом на незнакомом языке. Пламя костра уже обволакивало его, когда Аврелиан решился поднять глаза. Огненные языки на миг замерли — Аврелиан в первый и последний раз увидел лицо ненавистного человека. Оно ему напомнило кого-то, но он не мог сообразить кого. Потом огонь закрыл все, потом тот кричал, и казалось, будто кричит сам костер.

Плутарх сообщает^[54], что Юлий Цезарь оплакивал гибель Помпея. Аврелиан гибели Иоанна не оплакивал, но почувствовал то, что чувствует человек, исцелившийся от неизлечимой болезни, ставшей частью его жизни. В Аквилее, в Эфесе, в Македонии провел он долгую череду лет. Он устремлялся к неприветливым границам империи, в глухие болота и отшельнические пустыни, дабы одиночество помогло ему постигнуть его жребий. Как-то в мавританском шатре, среди ночи, гремевшей львиным рыком, он перебирал в уме сложное обвинение, предъявленное Иоанну Паннонскому, и в энный раз соглашался с приговором. Однако оправдать свой лицемерный донос было труднее. В Русаддире он произнес теперь уже неуместную проповедь «Светоч светочей, возженный в плоти отступника». В Гибернии, в келье окруженного лесами монастыря, когда ночь близилась к рассвету, он вдруг услышал шум дождя. Ему вспомнилась римская ночь, в которую он так же внезапно услышал drobный шум капель. В полдень молния зажгла деревья, и Аврелиан смог умереть той же смертью, что Иоанн.

Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в царстве небесном, где времени не существует. Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского. Однако это содержало бы намек на возможность путаницы в божественном разуме. Вернее будет сказать по-иному: в раю Аврелиан узнал, что для непостижимого божества он и Иоанн Паннонский (ортодокс и еретик, ненавидящий и ненавидимый, обвинитель и жертва) были одной и той же личностью.

История воина и пленницы

Ульрике фон Кюльман

На 278-й странице своей «Поэзии» (Бари, 1942) Кроче, конспектируя латинский текст историка Павла Диакона, рассказывает о судьбе и приводит эпитафию некоего Дроктульфта; и то и другое странно тронуло меня, почему — я догадался позже. Воин из племени лангобардов, Дроктульфт при осаде Равенны оставил своих и погиб, обороняя город, который перед тем штурмовал. Равеннцы погребли его в одном из храмов и сложили эпитафию, засвидетельствовав свою признательность («contempsit caros, dum nos amat, ille, parentes»^[55]) и поразительное несоответствие между кровожадным лицом этого варвара и его простосердечием и добротой:

Terribilis visu facies, sed mente benignus,
Longaque robusto pectores barba fuit!^[56]

Такова история жизни Дроктульфта — варвара, погибшего, защищая Римскую империю: точнее, такова часть этой истории, которую сумел выручить у времени Павел Диакон. Неизвестно даже, когда это все произошло: то ли в середине шестого века, когда лангобарды опустошали поля Италии, то ли в восьмом, перед падением Равенны. Представим себе (я ведь пишу не исторический труд) первое.

Представим Дроктульфта sub specie aeternitatis^[57] — не самого по себе, конечно же, единственного и непостижимого (как любой), а обобщенный тип, в который его и тысячи ему подобных превратило предание — труд памяти и забвения. Сквозь темную географию чащ и топей война привела его с берегов Дуная и Эльбы в Италию, а он, вероятно, и не знал, что идет на юг и сражается против римского владычества. Он мог быть из ариан, верующих, будто слава Сына — лишь ответ славы Отца, но скорее ему подойдет образ поклонника Земли, Эрты, чей закутанный истукан возят от бивака к биваку в телеге, запряженной быками, или божеств войны и грозы, неповоротливых деревянных идолов, облаченных в ткань и увешанных монетами и кольцами. Он явился из непроглядных чащ кабана и зубра, был светловолос, храбр, простодушен,

беспощаден и признавал не какую-то вселенную, а своего вождя и свое племя. Война привела его в Равенну, где он увидел то, чего никогда не видел раньше или видел, но не замечал. Он увидел свет, кипарисы и мрамор. Увидел строй целого — разнообразие без сумятицы; увидел город в живом единстве его статуй, храмов, садов, зданий, ступеней, чаш, капителей, очерченных и распахнутых пространств. Его — я уверен — потрясла не красота увиденного; оно поразило его, как нас сегодня поражают сложнейшие механизмы, чьего назначения мы не понимаем, но в чьем устройстве чувствуем бессмертный разум. Может быть, ему хватило одной-единственной арки с неведомой надписью вечными римскими литерами. И тут его вдруг ослепило и снова вернуло к жизни откровение по имени Город. Он понял, что будет тут хуже последней собаки или несмышленного малолетка, что не приблизится к разгадке даже на шаг, но понял и другое: этот город сильнее его богов, верности вождю и всех топей Германии. И тогда Дроктульфт покидает своих и переходит на сторону Равенны. Он гибнет, а на его надгробье выбивают слова, которых он, скорей всего, не сумел бы прочесть:

Contempsit caros, dum nos amat, ille, parentes,
Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam.^[58]

Он был не предателем (предатели обычно не удостоиваются благоговейных эпитафий), а прозревшим, новообращенным. Через несколько поколений те же клеймившие было перебежчика лангобарды вступили на его путь и стали итальянцами, ломбардцами, и, может быть, один из его кровников по имени Альдигер дал начало тем, кто дал потом начало Алигьери... О поступке Дроктульфта можно строить разные предположения; мое, пожалуй, самое простое, и если оно неточно как факт, то, может быть, подойдет как символ.

Прочитанная у Кроне история воина странно тронула меня: я почувствовал под незнакомой оболочкой что-то свое, близкое. Мелькнула мысль о монгольских всадниках, думавших обратить Китай в гигантское пастбище, а потом состарившихся в городах, которые хотели стереть с лица земли; но я искал в памяти другое. И наконец нашел: это был рассказ, услышанный однажды от бабушки — англичанки, теперь уже покойной.

В 1872 году мой дед Борхес отвечал за границу на северо-западе провинции Буэнос-Айрес и юге Санта-Фе. Командный пункт располагался в Хунине; дальше, лигах в четырех-пяти друг от друга, цепью тянулись

заставы, а еще дальше простиралась так называемая Пампа, или Внутренние Территории. Как-то, удивляясь и шутя разом, бабушка заговорила о судьбе, забросившей ее, англичанку, на этот край света; ей ответили, что она здесь такая не одна, а месяц-другой спустя показали индианку, не спеша пересекавшую площадь. Она была в двух пестрых накидках и босиком; волосы отливали золотом. Один из солдат передал, что с ней хочет поговорить другая англичанка; та согласилась и вошла в комендатуру без страха, но насторожась. На медном, грубыми красками расписанном лице голубели глаза того выгоревшего оттенка, который англичане зовут серым. У легкой, как лань, женщины руки были сильные, ширококостые. Она явилась из дремучей глуши, с Внутренних Территорий, и все — двери, стены, меблировка — казалось ей слишком маленьким.

Может быть, женщины на секунду почувствовали себя сестрами: обе были за тридевять земель от родного острова, в немыслимом краю. Бабушка о чем-то спросила индианку; та ответила неуверенно, подыскивая и повторяя слова, будто изумляясь давно забытому вкусу. На языке предков она не говорила уже лет пятнадцать и вспоминала его с трудом, рассказала, что родом из Йоркшира, что родители приехали в Буэнос-Айрес, но погибли при налете индейцев, а саму ее нападавшие забрали с собой, и теперь она — жена вождя, которому родила двух сыновей и который очень храбр. Все это говорилось на топорном, деревенском английском языке, пересыпанном арауканскими выражениями и наречием пампы. За словами вставала жестокая жизнь: хижины из лошадиных шкур, кизяковый костер, пиры с обгорелым мясом и сырыми потрохами, тайные вылазки поутру; набег на загоны для скота, ор и разбой, схватка, богатая конская сбруя, уносимая с хуторов полуголыми всадниками, многоженство, смрад, колдовство. И в это варварское существование ввергнута англичанка! С содроганием и жалостью бабушка уговаривала ее не возвращаться. Обещала защитить, выкупить сыновей. Но та клялась, что счастлива, и тем же вечером вернулась в свою глушь. Вскоре, в ходе революции 1874 года, Франсиско Борхес погибнет; и, может быть, бабушка наконец разглядит в образе той женщины, тоже похищенной силой и перекроенной безжалостным континентом, чудовищное зеркало собственной судьбы...

Раньше не было года, чтобы светловолосая индианка не заезжала в лавки Хунина или форта Лавалье за мелочами и всяческим «баловством»; но после разговора с бабушкой она больше не появлялась. И все же случай свел их еще раз. Как-то бабушка отправилась поохотиться; мужчина на одном из хуторов резал у поймы овцу. Как во сне, показалась верхом та индианка. Спешилась и стала лакать свежую кровь. То ли она уже не могла

иначе, то ли это был вызов, знак.

Тысяча триста лет и два океана разделяют судьбу пленницы и Дроктульфта. Оба остались в невозвратимом прошлом. Образ варвара, принявшего сторону Равенны, и образ европейки, выбравшей дикущую глушь, могут показаться противоположностями. И все же ими двигал один тайный порыв, порыв сильнее любых доводов, и оба покорились этому порыву, разумных объяснений которому не было. Не исключая, что обе пересказанные истории на самом деле одна. Орел и решка этой монеты для Господа неотличимы.

Биография Тадео Исидоро Круса

*I'm looking for the face I had
Before the world was made.*

Yeats, «The Winding Stair»^[59]

Шестого февраля 1829 года повстанцы, преследуемые на этот раз Лавалье, шли с Юга на соединение с войсками Лопеса и сделали привал в поместье, названия которого не знали, в трех или четырех лигах от Пергамино; перед рассветом одному из них приснился страшный сон; в полутемном баране он закричал и разбудил спавшую с ним женщину. Никто не знает, что ему приснилось, потому что на следующий день в четыре часа повстанцы были обращены в бегство конницей Суареса, которая гналась за ними девять лиг, пока в поле не стемнело, и человек тот умер во рву — череп ему раскроила сабля, воевавшая в Перу и в Бразилии. Женщину звали Исидора Крус; и сын, который у нее родился, был наречен Тадео Исидоро.

Я не собираюсь пересказывать его жизнь. Из всех дней и ночей, которые ее составляли, меня интересует только одна ночь; об остальных я и говорить не буду, разве только затеи, чтобы та ночь стала понятной. Приключившиеся события содержатся в знаменитой книге; другими словами, в книге, которая может для всех сделаться всем (1 Кор 9:22), ибо способна выдержать почти неисчерпаемое количество повторений, переложений и перелицовок. Те, кто комментировал — а таких было много — жизнь Тадео Исидоро, отмечают, что на его формирование повлияла равнина, однако гаучо, подобно ему, рождались и умирали и на заросших тропическими лесами берегах Параны, и в высившихся на востоке горах. Но Крус действительно жил в мире однообразном и диком. Он умер в 1874 году от черной оспы и ни разу так и не увидел ни гор, ни фабричной трубы, ни мельницы. И города не видел. В 1849 году вместе с войском установления порядка Франсиско Хавьера Асеведо он отправился в Буэнос-Айрес; пастухи вошли в город, чтобы разграбить его; Крус из опаски не решился выйти с постоянного двора, находившегося неподалеку от загонов. Там он провел много дней, молчаливый и замкнутый, спал на земле, пил мате, вставал с рассветом, сосредоточенно молился. Особым чутьем (что сильнее всяких слов и доводов рассудка) он понял: у него с городом нет

ничего общего. Как-то пьяный пеон посмеялся над ним. Крус ему ничего не сказал, но тот, возвращаясь к ночи, присаживался у очага и продолжал насмехаться; и однажды Крус (никогда ранее не высказывавший злобы или неудовольствия) ударом кулака свалил его. А сам бежал и несколько дней прятался в высоком жнивье; но вот Как-то ночью по крику испуганной птицы чаха он понял, что окружен полицией. Он попробовал свой нож, срубив стебель; чтобы шпоры не помешали ему на земле, он снял шпоры. Он решил не сдаваться и биться до последнего. Его ранили в руку, в плечо, в левую ладонь; и он тяжело ранил самых смелых своих противников; когда кровь заструилась у него меж пальцев, он стал еще отважнее, чем раньше; перед рассветом его, истекавшего кровью и почти терявшего сознание, разоружили. Армия в те времена зачастую играла роль карателя: Круса отправили в крепость на Северной границе. Рядовым солдатом он участвовал в гражданских войнах; случалось, сражался за провинцию, откуда был родом, а случалось, что и против нее. Двадцать третьего января 1856 года в Лагуна Кардосо он был в числе тридцати христиан, которые под командой старшего сержанта Эусебио Лаприды бились с двумя сотнями индейцев. В этом сражении он был ранен копьем.

В истории его мрачной и бесстрашной жизни много пробелов. В 1868 году, мы знаем, он снова оказывается в Пергамино; жена или наложница родила ему сына, а сам он теперь хозяин небольшого земельного надела. В 1869 году он получает звание сержанта сельской полиции. Он искупил свое прошлое и теперь, должно быть, считает себя счастливым, хотя, по сути дела, счастлив не был. (Его поджидала, затаившись о будущем, все озаряющая, главная в его жизни ночь: ночь, когда он наконец увидит свое собственное лицо, ночь, когда он наконец услышит свое имя. Если понять ее как следует, то эта ночь исчерпывает всю его жизнь; вернее сказать, один миг этой ночи, один поступок этой ночи, ибо поступки наши — символы нас самих.) Судьба любого человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается в *одном-единственном мгновении* — в том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он. Рассказывают, что Александр Македонский увидел отражение своего ратного будущего в сказочной истории Ахилла; Карл XII Шведский — в истории Александра Македонского. К Тадео Исидоро Круссу, не умевшему читать, откровение явилось не из книги — он увидел себя в другом человеке, попавшем в суровую переделку. А было так.

В последние дни июня 1870 года он получил приказ поймать злоумышленника, виновного перед правосудием в двух смертях. Человек этот бежал из войск, которыми командовал на Южной границе полковник

Бенито Мачадо; однажды но пьянке в публичном доме он убил негра, а в другой раз, тоже во время попойки, — подвернувшегося под руку сторонника Росаса; в сообщении указывалось, что родом он из Лагуна Колорада. Именно в этом месте сорок лет назад беда настигла повстанцев, и тела их остались там на радость воронью и бродячим псам; оттуда вышел Мануэль Меса, которого казнили на площади Победы под грохот барабанов, старавшихся заглушить его гнев; отсюда же был и неизвестный, что зачал Круса, а сам погиб во рву от смертельного удара саблей, воевавшей в Перу и в Бразилии. Крус позабыл название места, но теперь с легким и необъяснимым беспокойством узнал его. Преступник, уходя верхом на лошади, петлял по зарослям; и все-таки солдаты окружили его ночью двенадцатого июля. Он схоронился в высоком жнивье. Тьма была почти непроглядная; Крус со своими людьми, спешившись, осторожно подступал к зарослям, в колеблющейся глубине которых спал или подстерегал их неведомый человек. Закричала птица чаха; Тадео Исидоро Крису показалось, будто однажды он уже пережил этот миг. Преступник вышел из укрытия, чтобы сойтись с ними в открытом бою. Он показался Крису ужасным; отросшие волосы и пегая борода будто съели его лицо. По причине совершенно очевидной я не стану описывать их схватку. Достаточно сказать, что преступник тяжело ранил или убил нескольких людей Круса. А Крус, сражаясь в потемках (это его тело сражалось в потемках), начал прозревать. И понял, что одна судьба ничем не лучше другой, но каждый человек должен почитать то, что несет в себе. И что нашивки и форма только мешают и путают. Он понял, что его исконная участь — участь волка, а не собаки из своры; и еще понял, что тот, другой, — это он сам. Над необъятной равниной светало; Крус бросил оземь форменную фуражку и, закричав, что он не пойдет на злодеяние и не станет убивать храброго человека, стал биться против своих солдат вместе с беглым Мартином Фьерро.

Эмма Цунц

Четырнадцатого января 1922 года Эмма Цунц, вернувшись с ткацкой фабрики Тарбуха и Левенталья, обнаружила на полу прихожей письмо с бразильской маркой, из которого узнала, что ее отец умер. При первом взгляде марка и почтовый штемпель ввели ее в заблуждение, но незнакомый почерк сразу же насторожил. На листке бумаги оказалось всего восемь или десять корявых строчек; Эмма прочитала, что сеньор Майер по ошибке принял слишком большую дозу веронала и скончался третьего января в больнице Баже. Сообщение было подписано соседом отца по палате, неким Фейном или Файлом из Риу-Гранди, который не подозревал, что обращается к дочери умершего.

Эмма выронила письмо. Она чувствовала дурноту, ноги подкашивались, затем пришло ощущение безотчетной вины и нереальности происходящего, ее охватил холод и страх, затем ей захотелось, чтобы уже настало завтра. Но она тут же поняла, что это желание тщетно, потому что смерть отца была и останется впредь единственным событием в мире. Эмма подобрала листок и пошла к себе в комнату. Она спрятала письмо, словно предчувствуя, как повернутся события. Может быть, она начинала смутно догадываться о них, о том, что с ней станет.

В сгущающихся сумерках Эмма до самой ночи оплакивала самоубийство Мануэля Майера, который в давние счастливые дни носил имя Эммануэль Цунц. Эмма вспоминала летнее время в загородном доме неподалеку от Гуалегуая, вспоминала (вернее, пыталась вспомнить) мать, вспоминала ломик в Ланусе, который пошел с молотка, желтые ромбы оконного стекла, вспоминала тюремный автомобиль, постигшее их бесчестье, наглые анонимки, разоблачавшие «растратчика-кассира», вспоминала (хотя и не забывала этого никогда), как отец в последний вечер поклялся ей, что вор — Левенталь. Левенталь — Аарон Левенталь, в прежние времена управляющий фабрики, а теперь ее совладелец. Эмма хранила тайну шесть лет. Она не поделилась ею ни с кем, даже со своей лучшей подругой Эльзой Урштейн. Может быть, она боялась оскорбительного недоверия; может быть, ей верилось, что тайна связывает ее с отцом. Левенталь не подозревал, что она знает; это ничтожное обстоятельство давало Эмме ощущение силы.

Она не спала всю ночь, и к тому времени, как забрезжила заря,

высветлив прямоугольник окна, у нее сложился план. Она сделала все, чтобы казавшийся бесконечным день ничем не отличался от обычного. На фабрике шли разговоры о забастовке; Эмма, как всегда, высказалась против любых насильственных действий. В шесть часов, закончив работу, она отправилась с Эльзой в женский клуб, чтобы записаться на занятия в гимнастическом зале и бассейне. Ей пришлось повторять и произносить по буквам свое имя и фамилию, пришлось выслушивать пошлые шутки, которыми сопровождалась эта процедура. Вместе с Эльзой и младшей из сестер Кронфусс они договорились, в какой кинотеатр пойдут в воскресенье вечером. Потом зашел разговор о кавалерах, Эмма не принимала в нем участия, но никто этого от нее и не ждал. В апреле ей исполнилось девятнадцать, но мужчины до сих пор вызывали у нее почти патологический страх... Вернувшись домой, она приготовила суп из тапиоки и немного овощей, рано поужинала, легла и заставила себя заснуть. Так, в работе, обыденно прошла пятница, пятнадцатое, день накануне.

В субботу ее разбудило нетерпение. Нетерпение, а не тревога, и какое-то облегчение при мысли, что этот день наконец настал. Не нужно было ничего задумывать, ничего воображать; через несколько часов ей предстоит самое простое — действия. Она прочитала в газете «Пренса», что «Нордштьернан» из Мальме выходит в море сегодня ночью из дока номер три; позвонила Левенталю и намекнула, что хотела бы рассказать ему тайком от всех кое-что о забастовке, и пообещала прийти в контору, когда стемнеет. Голос Эммы дрожат, что выдавало доносчицу.

Больше ничего знаменательного в то утро не произошло. Эмма проработала до двенадцати, затем поговорила с Эльзой и Перлой Кронфусс о подробностях предстоящей воскресной прогулки. После обеда она прилегла и с закрытыми глазами повторила про себя составленный план. Подумала, что конец будет менее ужасен, чем начало, и даст ей почувствовать вкус победы и справедливости. Вдруг она в тревоге вскочила и подбежала к комоду. Открыла ящик; под фотографией Милтона Силлса, там, куда она сунула его позавчера, лежало письмо Файна. Никто не должен его увидеть; она принялась перечитывать его и разорвала.

Пытаться хоть в какой-то мере соотнести все случившееся тем вечером с реальностью трудно и, может быть, напрасно. Событиям чудовищным присуща ирреальность; ирреальность, которая, кажется, смягчает их ужас, а иной раз — усиливает. Как сделать правдоподобным поступок, в который почти не верит та, что совершила его? Как восстановить ту сумятицу, которую сегодня память Эммы отторгает, которая приводит ее в

замешательство? Эмма жила в квартале Альмагро, на улице Линьерса; нам известно, что ближе к вечеру она направилась к порту. Возможно, на печально известной Пасео де Хулио она увидела себя отраженной во множестве зеркал, освещенной огнями, раздеваемой жадными взглядами, но, скорее всего, сначала она блуждала незамеченной в равнодушной толпе... Она заглянула в два или три бара, понаблюдала уловки и хитрости других женщин. Наконец встретила людей с «Нордштьернана». Того, что был помоложе, она отвергла, боясь, что он может пробудить в ней какую-то нежность, и остановила свой выбор на другом, мужлане, чуть ли не ниже ее ростом, — чтобы ужас предстоящего не потерял остроты, не был смягчен ничем. Он повел ее в ворота, потом в темный подъезд, по крутой лестнице, потом в прихожую (где было окно с такими же ромбами, как в их домике в Ланусе) и по коридору в комнату; дверь за ними захлопнулась. Тяжкие события существуют вне времени, потому что словно отсекают недавнее прошлое от будущего и потому что кажутся разъятыми на части, не слагаются в целое.

Подумала ли Эмма Цунц в какое-то мгновение этого безвременья, в сумятице отрывочных, невыносимых ощущений хоть один — единственный раз об умершем, ради которого была принесена эта жертва? Мне кажется, подумала, и в этот момент ее отчаянный замысел оказался под угрозой. Подумала (не могла не подумать), что отец совершал с ее матерью то страшное, что совершают с ней сейчас. Она подумала об этом с неким удивлением и тут же провалилась в спасительный полуобморок. Мужчина, швед или финн, не говорил по-испански; для Эммы он был орудием, как и она для него, но она служила ему для наслаждения, а он ей — для справедливости.

Оказавшись одна, Эмма не сразу открыла глаза. На столике с лампой лежали оставленные мужчиной деньги. Эмма привстала и разорвала их, как прежде разорвала письмо. Рвать деньги грешно, все равно что бросать хлеб на землю; сделав это, Эмма тут же почувствовала раскаяние. Проявить гордыню в такой день... Страх растворился в физической боли, в отвращении. Отвращение и боль нарастали, но Эмма медленно встала и принялась одеваться. Все в комнате казалось померкшим; за окном темно. Эмме удалось выйти незамеченной; на углу она села в трамвай, который шел в западный район. В соответствии со своим планом она выбрала переднее сиденье, чтобы никто не видел ее лица. Во время этой обычной поездки по городу она убедилась, что из-за случившегося мир не рухнул; возможно, это придало ей сил. Она ехала мимо запущенных печальных кварталов, замечая и тут же забывая их, и вышла из трамвая у

одного из переулков, прилегавших к улице Уорнеса. Удивительным образом изнеможение Эммы обернулось ее силой, вынуждая сосредоточиться на деталях предстоящего и не думать о его сути и цели.

Аарон Левенталь, по общему мнению, был человеком солидным, а по мнению немногих близких, скрягой. Он обитал один на верхнем этаже фабричного здания. Живя в захудалом пригороде, он опасался воров и держал во дворе фабрики огромного пса, а в ящике письменного стола хранил револьвер, о чем было известно всем и каждому. В прошлом году он благопристойно оплакал неожиданную кончину жены — урожденной Гаусс, принесшей ему порядочное приданое! — но истинной его страстью были деньги. Он признавал, что способен скорее копить деньги, чем зарабатывать их, и в тайне стыдился этого. Он был очень религиозен; он верил, что заключил с Богом тайный договор, который позволяет Сходиться молитвами и благочестием, не требуя от него добропорядочности. Лысый, рыжебородый, тучный, с дымчатым пенсне на носу, одетый в траур, он стоял у окна в ожидании конфиденциального сообщения работницы Цунц.

Он увидел, как она толкает ворота (которые он специально оставил незапертыми) и идет по темному двору. Увидел, как она обходит рвущегося на цепи пса. Губы Эммы шевелились, словно она потихоньку молилась; они упрямо повторяли фразу, которую сеньор Левенталь услышит перед смертью.

Все получилось не так, как предполагала Эмма. Со вчерашнего утра она не раз представляла себе, как направит на него мощный револьвер, вынудив мерзавца признаться в своей мерзкой вине, и откроет ему свой смелый маневр, который позволит высшей справедливости восторжествовать над справедливостью людской. (Не от страха, а лишь оттого, что Эмма признавала себя орудием справедливости, она не хотела понести наказание.) Затем — единственная пуля в грудь скрепит печатью судьбу Левенталья. Но все получилось не так.

Увидев Аарона Левенталья, Эмма ощутила желание более сильное, чем стремление отомстить за отца, более безотлагательное — покарать этого человека за поругание, которому она подверглась из-за него. Она не могла не убить его после пережитого позора. Да и времени разыгрывать спектакль у нее не было. Она робко села, попросила извинения у Левенталья, сослалась (как и подобает доносчице) на свой долг и преданность, назвала какие-то имена, намекнула на несколько других и замолчала, словно испугавшись. Попросила Левенталья принести стакан воды. Когда Левенталь, не очень веря в эти капризы, но снисходя к ним, вернулся из столовой, Эмма уже извлекла из ящика увесистый револьвер. Она дважды

нажала на спусковой крючок.

Грузное тело рухнуло, словно звук выстрелов и дым разорвали его, стакан разбился, лицо глядело на нее гневно и удивленно, рот изрыгал испанские и еврейские ругательства. Брань не умолкала, и Эмме пришлось выстрелить еще раз. Во дворе цепной пес заходился лаем; вдруг кровь хлынула из сыпавших ругательствами губ, пятная бороду и одежду. Эмма начала произносить заготовленное обвинение («Я отомстила за отца, и меня не за что карать...»), но не dokonчила, потому что сеньор Левенталь был мертв. Она так и не узнала, удалось ли ему понять хоть что-то.

Злобный лай напомнил ей, что нельзя терять времени. Она разворошила диван, расстегнула одежду на трупе, подняла забрызганное пенсне и положила на картотеку. Затем взяла телефонную трубку и повторила то, что столько раз повторяла про себя, этими же или другими словами: «Произошло невероятное... Сеньор Левенталь попросил меня прийти под предлогом забастовки... Он изнасиловал меня, я его убила...»

История, действительно, невероятная, но в нее поверили все, поскольку, по сути, она была правдивой. В тоне рассказа Эммы Цунц звучала правда, правдой было ее целомудрие, правдой — ненависть. Правдой было и поругание, которому она подверглась; не соответствовали истине лишь обстоятельства, время и одно-два имени.

Дом Астерия

Мариу Москера Истмен

И царица произвела на свет сына, которого назвали Астерием.

Аполлдор. Библиотека, III. 1

Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно)^[60] открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость — будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора? Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу; и если вернулся еще до наступления ночи, то потому, что меня испугали лица простонародья — бесцветные и плоские, как ладонь. Солнце уже зашло, но безутешный плач ребенка и молящие вопли толпы означали, что я был узнан. Люди молились, убегали, падали на колени, некоторые карабкались к подножию храма Двойной секиры, другие хватали камни. Кто-то, кажется, кинулся в море. Недаром моя мать была царицей, я не могу смешаться с чернью, даже если бы по скромности хотел этого.

Дело в том, что я неповторим. Мне не интересно, что один человек может сообщить другим; как философ, я полагаю, что с помощью письма ничто не может быть передано. Эти раздражающие и пошлые мелочи претят моему духу, который предназначен для великого; я никогда не мог удержать в памяти отличий одной буквы от другой. Некое благородное нетерпение мешает мне выучиться читать. Иногда я жалею об этом — дни и ночи такие длинные.

Разумеется, развлечений у меня достаточно. Как баран, готовый биться, я ношусь по каменным галереям, пока не упаду без сил на землю. Я прячусь в тени у водоема или за поворотом коридора и делаю вид, что меня

ищут. С некоторых крыш я прыгал и разбивался в кровь. Иногда я прикидываюсь спящим, лежа с закрытыми глазами и глубоко дыша (порой я и в самом деле засыпаю, а когда открою глаза, то вижу, как изменился цвет дня). Но больше всех игр мне нравится игра в другого Астерия. Я делаю вид, что он пришел ко мне в гости, а я показываю ему дом.

Чрезвычайно почтительно я говорю ему: «Давай вернемся к тому углу», или: «Теперь пойдем в другой двор», или: «Я так и думал, что тебе понравится этот карниз», или: «Вот это чан, наполненный песком», или: «Сейчас увидишь, как подземный ход раздваивается». Временами я ошибаюсь, и тогда мы оба с радостью смеемся.

Я не только придумываю эти игры, я еще размышляю о доме. Все части дома повторяются много раз, одна часть совсем как другая. Нет одного водоема, двора, водопоя, кормушки, а есть четырнадцать (бесконечное число) кормушек, водопоев, дворов, водоемов. Дом подобен миру, вернее сказать, он и есть мир. Однако, когда надоедают дворы с водоемом и пыльные галереи из серого камня, я выхожу на улицу и смотрю на храм Двойной секиры и на море. Я не мог этого понять, пока однажды ночью мне не привиделось, что существует четырнадцать (бесконечное число) морей и храмов. Все повторяется много раз, четырнадцать раз, но две вещи в мире неповторимы: наверху — непонятное солнце; внизу — я, Астерий. Возможно, звезды, и солнце, и этот огромный дом созданы мной, но я не уверен в этом.

Каждые девять лет в доме появляются девять человек чтобы я избавил их от зла. Я слышу их шаги или голоса в глубине каменных галерей и с радостью бегу навстречу. Вся процедура занимает лишь несколько минут. Они падают один за другим, и я даже не успеваю запачкаться кровью. Где они падают, там и остаются, и их тела помогают мне отличить эту галерею от других. Мне неизвестно, кто они, но один из них в свой смертный час предсказал мне, что когда-нибудь придет и мой освободитель.

С тех пор меня не тяготит одиночество, я знаю, что мой избавитель существует и в конце концов он ступит на пыльный пол. Если бы моего слуха достигали все звуки на свете, я различил бы его шаги. Хорошо бы он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и меньше дверей. Каков будет мой избавитель? — спрашиваю я себя. Будет ли он быком или человеком? А может, быком с головой человека? Или таким, как я?

Утреннее солнце играло на бронзовом мече. На нем уже не осталось крови.

— Поверишь ли, Ариадна? — сказал Тесей. — Минотавр почти не сопротивлялся.

Вторая смерть

Года два назад (письмо куда-то задевалось) Ганнон написал мне из Гуалегуайчу, предупредив, что на днях высылает, кажется, впервые переведенное на испанский стихотворение Ралфа Уолдо Эмерсона «The Past»^[61], а в приписке добавив: дон Педро Дамиан, которого я должен помнить, умер прошлой ночью от воспаления легких. Истрепанный лихорадкой, он в бреду еще раз пережил кровавый день под Масольером. Последнее не удивило меня, скорее, наоборот — трудно было ожидать другого, ведь Дамиан встал под знамена Апарисио Саравии мальчишкой девятнадцати-двадцати лет. Восстание 1904 года застигло его то ли в Рио-Негро, то ли в Пайсанду батраком на ферме. Вообще-то Педро Дамиан был уроженцем Гуалегуая в провинции Энтре-Риос, но снялся оттуда вслед за друзьями, такой же отчаянный и такой же темный, как они. Участвовал в нескольких переделках и в решающем бою, а вернувшись домой в 1905-м, с безропотным упорством продолжил гнуть спину на той же пашне. Насколько знаю, больше он со старого места не трогался. Последние тридцать лет коротал в одиночестве в лиге-другой от Ньянкая; среди этой глуши Как-то после полудня я и заговорил (а скорее, попытался заговорить) с ним году в сорок втором. Человек он был неразговорчивый, серый. Шум и ярость битвы под Масольером исчерпывали его биографию, понятно, что в час смерти он заново пережил именно их... Я знал, что больше не увижу Дамиана, и попробовал вспомнить его, но зрительная память у меня никуда не годится, и мне припомнился только сделанный когда-то Ганноном снимок. Но и в этом ничего странного нет, поскольку самого Дам пана я видел лишь однажды, к тому же — в начале сорок второго, а фотографию его — много раз. Ганнон прислал мне фото, я его куда-то сунул и с тех пор не ищу. Больше того — боюсь найти.

Другой случай произошел через несколько месяцев в Монтевидео. Бред и агония мужчины из Энтре-Риос подсказали мне фантастическую новеллу о разгроме под Масольером. Эмир Родригес Монегаль, которому я изложил сюжет, направил меня с запиской к полковнику Дионисио Табаресу, участвовавшему в той кампании. Полковник принял меня после ужина. Раскачиваясь в кресле посреди двора, он начал беспорядочно и пылко вспоминать былые времена. Говорил о запаздывающих боеприпасах и заморенных лошадях, о людях землистого цвета, ткущих в полусонном марше бесконечные лабиринты, о Саравии, который имел возможность

ворваться в Монтевидео, но обошел его стороной, «поскольку гаучо боятся города», о людях, которым снимали голову по самые плечи, о гражданской войне, в его рассказе все больше напоминавшей не противостояние двух армий, а сон палача. Говорил об Ильескас, о Тупамбаэ, о Масольере. Периоды катились легко и живо, я понял, сколько раз он уже описывал эти события, и забеспокоился, остались ли за словами хоть какие-то воспоминания. В первую же паузу я вставил имя Дамиана.

— Дамиан? Педро Дамиан? — переспросил полковник. — Как же, был такой. Индейский молокосос, ребята звали его Дайманом. — Он громко рассмеялся, но тут же оборвал себя, притворно или взаправду смутясь.

Уже другим тоном он добавил, что война как женщина: она испытывает мужчину, и никто не знает себя, пока не побывал в бою. Иной на вид не из храбрецов, а на поверку оказывается хоть куда, и наоборот. Как оно и случилось с беднягой Дамианом, который в забегах бахвалился, соря только что полученными «белыми» деньгами, а под Масольером сдрейфил. В перестрелках с «дублеными», как их звали, он еще держался, но, когда сходятся войска и грохочут пушки и каждый нутром чувствует, что эти пять тысяч собрались здесь, чтобы его прикончить, — это совсем другой разговор... Бедный парень, мыл себе своих овец и вдруг пустился на подвиги.

Как ни странно, после сказанного Табаресом мне было не по себе. Я ждал совсем другого. Во время той давней встречи я за несколько часов невольно создал из старого Дамиана что-то вроде кумира. Рассказ Табареса сровнял его с землей. Разом стала понятна замкнутость Дамиана, его непробиваемое одиночество: им двигала не застенчивость, а стыд. Напрасно я твердил себе, что человек, не находящий места, раз в жизни проявив слабость, куда многограннее и интересней безупречного смельчака. Лорд Джим или Разумов, мелькало у меня, заставляют задуматься куда глубже, чем гаучо Мартин Фьерро. Все так, но Дамиан был гаучо, а потому — в особенности для гаучо с Восточного берега — как бы самим Мартином Фьерро. То, о чем говорил и умалчивал Табарес, отдавало Каким-то неистребимым артигизмом — верой (скорее всего, недоступной для доводов разума), будто уругвайцы стихийнее и, стало быть, храбрее моих соотечественников... Помню, мы простились в тот вечер с особым, подчеркнутым дружелюбием.

Нехватка одной-двух подробностей в моем фантастическом рассказе (который упорно не получался) зимой снова привела меня к полковнику Табаресу. На этот раз я застал у него незнакомого господина в летах — доктора Хуана Франсиско Амаро из Пайсанду, тоже участвовавшего в

восстании Саравии. Разговор, понятно, опять зашел о Масольере. Амаро рассказал несколько случаев, потом неторопливо, как бы размышляя вслух, добавил:

— Помню, когда мы заночевали в «Санта-Ирене», прибилося к нам несколько человек. Француз — ветеринар, он потом прямо перед боем умер, а еще — парнишка из Энтре-Риос, стригаль овец, Педро Дамиан его звали.

Я, усмехнувшись, не сдержался.

— Как же, — вставил я. — Тот аргентинец, который сплеховал под пулями.

И замер: оба смотрели на меня в полном недоумении.

— Вы что-то путаете, сеньор, — выговорил наконец Амаро. — Педро Дамиан погиб дай Бог каждому. Было четыре часа пополудни. Колорадос шли с холма, наши встречали их пиками. Дамиан с криком рвался вперед, когда пуля попала ему в самое сердце. Он еще качнулся в седле, замолк и рухнул наземь, прямо под копыта. Лежал мертвый, а последняя атака под Масольером мчалась над ним. Надо же, молодец, ему ведь и двадцати не было.

Конечно, он говорил о каком-то другом Дамиане, но я, не знаю почему, поинтересовался, что тот выкрикивал.

— Ругательства, — вступил в разговор полковник, — как всегда в атаке.

— Может быть, — ответил Амаро, — но еще он кричал «За Уркису!»

Повисло молчание. Потом полковник пробормотал:

— Как будто не под Масольером был, а под Каганчей или в Индиа-Муэрте, лет сто назад.

И в явном замешательстве закончил:

— Я командовал тем отрядом, но ни про какого Дамиана, клянусь честью, слыхом не слыхивал.

Как мы ни бились, полковник Дамиана не вспомнил. В Буэнос-Айресе я еще раз столкнулся с подобной забывчивостью. В подвалах английской книжной лавки Митчелла, возле одиннадцати сказочных томов Эмерсона, я Как-то вечером встретил Патрисио Ганнона. И спросил, как поживает его перевод «The Past». Он и не думал братья за эту вещь, отозвался Патрисио, испанская словесность и без того скучна, а уж Эмерсон в ней совершенно лишний. Я напомнил, что он сам обещал мне этот перевод в том письме, где еще рассказывал о смерти Дамиана. Ганнон поинтересовался, кто это. Я безуспешно принялся объяснять. И в ужасе понял, что он слушает меня с удивлением, а потому поспешил перевести разговор на врагов Эмерсона,

поэта более сложного, блестящего и, уж конечно, более оригинального, чем бедняга Эдгар По.

Еще несколько деталей. В апреле я получил письмо от полковника Дионисио Табареса; помрачение его рассеялось, и теперь он отлично помнил парня из Энтре-Риос, который скакал в атаке под Масольером в первых рядах и которого той же ночью хоронили у подножия холма его люди. В июле я проезжал через Гуалегуайчу, но до фермы Дамиана не добрался, поскольку показать туда дорогу было некому. Хотел поговорить со скототорговцем Диего Абароа, который был с Дамианом до последней минуты, но тот и сам этой зимой умер. Я попытался припомнить лицо Дамиана; несколько месяцев спустя, листая какой-то альбом, я выяснил, что всплывавшие в памяти сумрачные черты принадлежали знаменитому тенору Тамберлику в роли Отелло.

Теперь перейдем к догадкам. Наиболее простая, но и наименее удовлетворительная в том, что существовали два разных Дамиана — трус, скончавшийся в Энтре-Риос в 1946 году, и храбрец, павший под Масольером в 1904-м. Остается непонятным только одно: странное происшествие с памятью полковника Табареса, его забывчивость, которая с такой быстротой стерла не только образ, но даже имя того, о ком он совсем недавно рассказывал. (Отгоняю, верней, пытаюсь отогнать самую простую возможность — что при первой нашей встрече всего-навсего задремал.) Интереснее сверхъестественное допущение Ульрики фон Кюльманн. Педро Дамиан, считает она, погиб в бою, но в последнюю минуту взмолился Богу, чтобы тот вернул его в Энтре-Риос. Прежде чем ниспослать ему эту милость, Господь на секунду заколебался, но именно в эту секунду просящий умер, так что люди видели, как он рухнул замертво. Бог, который не в силах перекроить само прошлое, но может изменить его образ, сделал так, что смерть приняли за обморок, и вернул призрак парня из Энтре-Риос в родные места. Вернул, важно не забывать, призрак. Тот дожил свой век одиночкой, без женщины, без друзей, дорожа и владея всем вокруг, но как бы на расстоянии, через стекло. Потом он, скажем так, умер, и его зыбкий образ растворился, будто вода в воде. Эта, пусть и ошибочная, догадка рано или поздно должна была навести меня на правильную (ту, которую я сегодня считаю правильной); она и проще, и необычней. Каким-то чудом я обнаружил подсказку в трактате «De Omnipotentia»^[62] Петра Дамиани, на который меня натолкнули два стиха из двадцать первой песни «Рая», посвященных как раз проблеме тождества. В пятой главе Петр Дамиани, вопреки Аристотелю и Фредегару Турскому, утверждает, что Бог может сделать бывшее небывшим. Я вникал в эти давние богословские споры и

начал понимать трагическую историю дона Педро Дамиана.

Объясняю ее так. Дамиан перетрусил в битве под Масольером. после чего посвятил оставшиеся годы тому, чтобы искупить свой позор. Вернулся в Энтре-Риос, в жизни ни на кого не поднял руку, никого не «полоснул» и не искал славы удальца, только все яростней бился на полях Ньянкая с дикими| кустами и лошадьми. Он, сам того не ведая, день за днем готовил будущее чудо. В глубине души его не отпускала мысль: «Если судьба пошлет мне другую битву, я себя не уроню». Сорок лет он жил тайной надеждой, и судьба снизошла к нему в час смерти. Снизошла в образе бреда, но ведь еще греки знали, что все мы — лишь призраки чьего-то сна. В агонии он еще раз пережил свою прежнюю битву и вел себя как мужчина, возглавив последнюю атаку и получив пулю прямо в сердце. Так, силою многолетней страсти Педро Дамиан сумел в 1946 году погибнуть при разгроме под Масольером, который случился в самом конце зимы 1904–го.

«Свод богословия» не признает, будто Бог может сделать бывшее небывшим, но ни слова не говорит о запутанном хитросплетении причин и следствий, столь всеобъемлющем и проникновенном, что, по всей вероятности, в прошлом нельзя тронуть даже пустяка, чтобы не упразднить настоящее. Изменяя прошлое, изменяешь не просто какой-то отдельный факт — вместе с ним перечеркиваешь все его следствия, а они бесконечны. Другими словами, создаешь две разные истории мира. В первой (назовем ее так) Педро Дамиан скончался в Энтре-Риос в 1946 году, во второй — пал под Масольером в 1904–м. Мы живем сейчас во второй, но упразднили первую не сразу, откуда и упоминавшиеся неувязки. Для полковника Табареса это прошло в два этапа: сначала он вспомнил Дамиана как труса, потом начисто забыл о его существовании, а затем помнил уже только его мгновенную смерть. То же самое — со скототорговцем Диего Абароа: думаю, он умер, не вынеся разноречивых воспоминаний о Педро Дамиане.

Кажется, подобной опасности едва удалось избежать и мне. Я обнаружил и записал случай, людям, как правило, недоступный, своего рода издевку над их разумом, и лишь некоторые обстоятельства облегчают груз этой жуткой привилегии. Во-первых, я не уверен, что описал точно; думаю, в рассказ вкрались и сомнительные воспоминания. Думаю, что Педро Дамиан (если он вообще существовал) звался не Педро Дамианом, а я вспоминаю его под этим именем, только чтобы задним числом уверить себя, будто всю историю мне подсказали доводы Петра Дамиани. То же — со стихами из первого абзаца, которые посвящены непреложности прошедшего. Году в 1951–м я буду считать, что написал фантастическую

новеллу, а сам всего лишь передал действительный случай. Не так ли простодушный Вергилий две тысячи лет назад думал, будто возвещает рождение человека, а предсказал явление Бога?

Бедный Дамиан! Двадцатилетним парнем смерть прибрала его во время жалкой, безвестной войны, в ходе никчемной стычки, но он достиг того, к чему стремился всем сердцем, чего так долго искал, а большего счастья на свете, вероятно, нет.

Deutsches requiem

Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться.

Иов. 13: 15

Меня зовут Отто Дитрих цур Линде. Один из моих предков, Кристоф цур Линде, пал в кавалерийской атаке, решившей победный исход боя при Цорндорфе. Прадед с материнской стороны, Ульрих Форкель, погиб в Маршенуарском лесу от пули французского ополченца в последние дни 1870 года. Капитан Дитрих цур Линде, мой отец, в 1914-м отличился под Намюром, а двумя годами позже — при форсировании Дуная^[63]. Что до меня, я буду расстрелян как изверг и палач. Суд высказался по этому поводу с исчерпывающей прямоотой, я с самого начала признал себя виновным. Утром, лишь только тюремные часы пробьют девять, я вступлю во врата смерти; естественно, я думаю сейчас о своих предках, ведь я уже почти рядом с их тенями, в известном смысле я и есть они.

Пока — к счастью, недолго — шел суд, я не произнес ни слова; оправдываться тогда значило бы оттягивать приговор и могло показаться трусостью. Теперь — другое дело: ночью накануне казни можно говорить, ничего не опасаясь. Я не мечтаю о прощении, поскольку не чувствую за собой вины, — я всего лишь хочу быть понят. Тот, кто сумеет услышать меня, поймет историю Германии и будущее мира. Убежден: такие судьбы, как моя, непривычные и поразительные сегодня, завтра превратятся в общее место. Утром я умру, но останусь символом грядущих поколений.

Я родился в 1908 году в Мариенбурге. Две теперь уже почти угасшие страсти — музыка и метафизика — помогли мне с достоинством и даже торжеством перенести самые мрачные годы. Не сумею перечислить всех, кому признателен, но о двоих умолчать не вправе. Это Брамс и Шопенгауэр. Многим обязан я и поэзии: прибавлю к названным еще одно широко известное германское имя — Вильям Шекспир. Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической науки (и христианской веры как таковой) меня навсегда отвадили Шопенгауэр — с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс — неисчерпаемым разнообразием своих миров. Пусть же тот, кто, дрожа от любви и благодарности, замрет, потрясенный, над тем или иным пассажем в сочинениях этих счастливицев, знает, что и я, мерзостный, тоже замирал над ними.

Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и Шпенглер. Один автор XVIII века^[64] считает, что мало кому по нраву быть должником своих современников; чтобы освободиться от гнетущего влияния, я написал статью под названием «Abrechnung mit Spengler»^[65], в которой отметил, что самое последовательное воплощение тех черт, которые этот литератор именует фаустианскими, — не путаная драма Гёте^[66], а созданная за двадцать вею нее поэма «De rerum natura»^[67]. Тем не менее я воздал должное откровенности историософа, его истинно немецкому (kerndeutsch) воинственному духу. В 1929 году я вступил в Партию.

Не стану задерживаться на годах моего учения. Они мне достались тяжелее, чем многим: не лишенный твердости характера, я не создан для насилия. Однако я понял, что мы стоим на пороге новых времен и эти времена, как некогда начальные эпохи ислама или христианства, требуют людей нового типа. Лично мне мои сотоварищи внушали только отвращение, и напрасно я уверял себя, будто ради высокой, объединившей нас цели мы обязаны жертвовать всем личным.

Богословы утверждают, что, стоит Господу на миг оставить попечение хотя бы вот об этой моей пишущей руке, и она тут же обратится в ничто, словно вспыхнув незримым огнем. Никто, добавлю я, не смог бы существовать, никто не сумел бы выпить воды или отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан^[68]. Для каждого это оправдание свое: я жил, ожидая беспощадной войны, которая утвердит нашу веру. И мне было достаточно знать свое место — место простого солдата этих грядущих битв. Я только боялся порой, что из-за трусости Англии или России все рухнет. Случай — или судьба? — соткали мне иное будущее: вечером первого марта 1939 года в Тильзите разразились беспорядки, о которых не упоминали газеты; в улочке за синагогой мне двумя пулями раздробило бедро, которое пришлось ампутировать^[69]. Через несколько дней наши войска вступили в Богемию; когда об этом объявили сирены, я полусидел на госпитальной койке, пытаюсь потонуть и забыться в томике Шопенгауэра. Символ моей бесплодной судьбы, на подоконнике дремал огромный пушистый кот.

Я перечитывал то место в первом томе^[70] «Parerga und Paralipomena», где сказано: все, что может приключиться с человеком от рождения до смерти, предрешиено им самим. Поэтому всякое неведение — сознательное, всякая случайная встреча — свидание, всякое унижение — раскаяние, всякий крах — тайное торжество, всякая смерть — самоубийство. Ничто так не утешает, как мысль, будто наши несчастья добровольны; эта

индивидуальная телеология обнаруживает в мире подспудный порядок и чудесно сближает нас с богами. Какой неведомый предлог (ломал я голову) заставил меня искать в тот вечер пули и увечья? Не страх перед боем, нет; уверен, причина глубже. В конце концов я, кажется, понял. Погибнуть за веру легче, нежели жить ею одною; сражаться с хищниками в Эфесе не так тяжело (ведь столько безымянных мучеников прошли через это!), как стать Павлом, слугой Иисусу Христу; поступок короче человеческого века. Битва и победа — своего рода льготы; быть Наполеоном проще, чем Раскольниковым. Седьмого февраля 1941 года меня назначили заместителем начальника концентрационного лагеря в Тарновицах.

Служба не доставляла мне радости, но я исполнял свой долг. Трус проверяется под огнем; милосердие и жалость ищут темниц и чужой боли. По сути, нацизм — моральное учение, призывающее совлечь с себя прогнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую. В бою, под окрик командиров и общий рев, это превращение испытывает каждый; иное дело — отвратный застеноч, где предательская жалость искушает нас давно забытой любовью. Я не случайно пишу эти слова: жалость высшего — последний грех Заратустры^[71]. И я, признаюсь, почти совершил его, когда к нам перевели из Бреслау известного поэта Давида Иерусалема.

Это был мужчина лет пятидесяти. Обойденный благами этого мира, гонимый, униженный и поруганный, он посвятил свой дар воспеванию счастья. Помнится, Альберт Зёргель в книге «*Dichtung der Zeit*»^[72] сравнил его с Уитменом. Сближение не слишком удачное: Уитмен славит мир наперед, оптом, почти безучастно; Иерусалем радуется каждой мелочи со страстью ювелира. Он никогда не впадает в перечисление, в каталогизацию. Я и сегодня могу строка за строкой повторить гексаметры его великолепного стихотворения «Живописец Цзы Ян, мастер тигров», чьи стихи напоминают разводы тигриной шкуры и полнятся неисчислимыми и безмолвными пересекающими их тиграми. Не забыть мне и монолога «Розенкранц беседует с ангелом», где лондонский процент-щик XVI века пытается на смертном одре вымолить себе отпущение грехов и не знает, что втайне оправдан, внушив одному из клиентов (которого он и видел-то раз и, конечно, не помнит) образ Шейлока. Мужчина с незабываемыми глазами, пепельным лицом и почти черной бородой, Давид Иерусалем выглядел типичным сефардом^[73], хоть и принадлежал к ничтожным и бесправным ашкенази. Я был с ним строг, не поддаваясь ни сочувствию, ни уважению к его славе. Я давно понял, что адом может стать все: лицо, слово, компас, марка сигарет в состоянии свести с ума, если нет сил вычеркнуть их из

памяти. Разве не безумен тот, кто днем и ночью видит перед собой карту Венгрии? Я применил этот принцип к дисциплинарному режиму в нашем лагере и...^[74] К концу 1942 года Иерусалем сошел с ума, первого марта 1943-го он покончил с собой^[75].

Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, чтобы убить в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым.

А над нами проносились великие дни и великие ночи военных удач. Мы вдыхали воздух, пьянивший, как любовь. Сердце замирало от ужаса и восторга, словно захлестнутое прибоем. Все в ту пору было иным, новым, даже сны. (Может быть, я просто никогда не знал настоящего счастья, а бедам, как известно, нужен потерянный рай.) Не было тогда человека, который не вбирал бы жизнь полной грудью, дорожа всем, что только способен вместить и перечувствовать; и не было тех, кто не страшился бы потерять это бесценное сокровище. Но моему поколению предстояло пережить все: сначала — победу, потом — гибель.

В октябре — ноябре 1942 года во втором бою у Эль Аламейна пал в египетских песках мой брат Фридрих; несколько месяцев спустя воздушный налет стер с лица земли наш родовой особняк, другой, в конце 1943-го, — мою лабораторию. Осажденный всем миром, погибал Третий Рейх: он был один против всех и все — против него. И тогда случилось то, что я, кажется, осознал только теперь. Я верил, будто способен испить чашу гнева, но обнаружил на дне неожиданный вкус — странный, почти пугающий вкус счастья. «Я рад поражению, — думалось мне, — потому что конец близок и у меня уже нет больше сил». «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку оно настало, поскольку им проникнуто все, что есть, было и будет, поскольку исправлять или оплакивать случившееся — значит покушаться на ход вещей». Я перебирал эти объяснения, пока не пришел к единственно верному.

Давно сказано, что люди рождаются на свет последователями либо Аристотеля, либо Платона^[76]. Иными словами, всякий спор на более или менее отвлеченную тему входит в давнюю и бесконечную полемику Аристотеля и Платона; через века и пространства сменяются имена, наречия, лица, но не извечные противники. Эта скрытая преемственность лежит и в истории народов. Громя в болотной грязи легионы Вара, Арминий не знал, что становится предшественником Германской империи;

переводя Библию, Лютер не подозревал, что выковывает народ, который уничтожит Библию навсегда; настигнутый русской пулей в 1758 году, Кристоф цур Линде в каком-то смысле предвозвестил наши победы в 1914-м. Гитлер считал, что сражается ради одной страны, а сражался во имя всех, даже тех, кого преследовал и ненавидел. И неважно, что сам он об этом не догадывался: это знала его кровь, его воля. Мир погибал от засилья евреев и порожденного ими недуга — веры в Христа; мы привили ему беспощадность и веру в меч. Теперь этот меч обратился против нас, и мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака и обрекшему его на смерть, но вдруг в озарении слышащему: «Этот человек — ты». Многого нужно разрушить, чтобы воздвигнуть новый порядок; теперь мы знаем, что среди этого многого — наша Германия. Мы пожертвовали не просто жизнью: мы пожертвовали судьбой любимой отчизны. Пусть другие клянут и плачут; моя радость в том, что наша жертва не знает пределов и не имеет равных.

Сегодня на землю нисходит безжалостная эпоха. Ее выковали мы, мы, павшие первыми. Разве дело в том, что Днглия послужит молотом, а мы — наковальней? Главное, что на земле отныне будет царить сила, а не рабий христианский страх. Если победа, неподсудность и счастье не на стороне Германии, пусть они достаются другим. Да будет благословен рай, даже если нам отведен ад.

Я всматриваюсь в зеркало, чтобы понять, кто я такой и каким стану через несколько часов перед лицом смерти. Плоть моя может содрогнуться, я — нет.

Поиски Аверроэса

S'imaginant que la tragedie n'est autre chose que l'art de louer^[77].

Эрнест Ренан, «Аверроэс», 48 (1861)

Абу-ль-Валид Мухаммед ибн Ахмет ибн Мухаммед ибн Рушд (целый век шло это длинное имя к Аверроэсу через Бенраиста и Авенриса, и даже через Абен-Рассада и Филиуса Росадиса) писал одиннадцатую главу трактата «Тахафут-уль-Тахафут» («Опровержение Опровержения»), в котором утверждается, вопреки мнению персидского аскета Газали, автора «Тахафут-уль-Фаласифа» («Опровержение философов»), что божеству ведомы лишь общие законы вселенной, то, что касается видов, а не индивидуума. Писал он с неспешной уверенностью, справа налево; строя силлогизмы и соединяя звеньями длинные абзацы, он все время чувствовал, как дыхание благоденствия вокруг себя, свой прохладный и просторный дом. В недрах сиесты хрипло ворковали влюбленные голуби, из невидимого патио подымалось журчание фонтана, и Аверроэс, чьи предки были уроженцами аравийских пустынь, всей плотью своей ощущал благодарность за присутствие воды. Ниже располагались сады и уэрта; еще ниже — неуемный Гвадалквивир, а дальше — любимый город Кордова, столь же светлый, как Багдад или Эль-Каир, город, подобный сложному и утонченному музыкальному инструменту, а вокруг (это Аверроэс тоже чувствовал) простиралась до горизонта земля Испании, на которой не так-то много всего, но зато каждая вещь расположилась прочно и навеки.

Перо бежало по странице, доводы цеплялись один за другой, доводы неопровержимые, однако блаженное состояние Аверроэса омрачала одна небольшая забота. Причиной был не «Тахафут», труд, в общем, случайный, но проблема из области филологии, связанная с монументальным произведением, которое должно было оправдать его бытие перед человечеством, — то был комментарий к Аристотелю. Этот грек, источник всяческой философии, был ниспослан людям, дабы научить их всему, что только возможно знать: истолковать его книги, как улемы^[78] толкуют Коран, было нелегкой целью Аверроэса. История знает не много таких прекрасных и возвышенных фактов, как этот подвиг врача-араба,

посвятившего себя мыслям человека, от которого его отделяли четырнадцать веков; к трудностям существа дела надо добавить то, что Аверроэс, не знавший сирийского и греческого языков, работал над переводом перевода. Накануне работу остановили два неясных ему слова в начале «Поэтики»^[79]. Этими словами были «трагедия» и «комедия». Он встречал их много лет тому назад в третьей книге «Риторики»; никто в областях ислама не мог догадаться, что они означают. Тщетно листал он страницы Александра Афродисийского, тщетно сличал версии несторианина Хунайна ибн-Исхака и Абу Бишра Матты. Два этих загадочных слова испещряли текст «Поэтики», опустить их было невозможно.

Аверроэс отложил перо. Сказав себе (без особой уверенности), что мы часто ищем то, что рядом лежит, он спрятал рукопись «Тахафута» и подошел к полкам, где стояли переписанные персидскими каллиграфами многочисленные тома «Мохкама» слепого Ибн Сиды. Смешно было думать, там он, конечно, справлялся, однако его соблазнило праздное удовольствие вновь полистать эти тома. От этого ученого развлечения его отвлекли звуки как бы напева. Он поглядел через зарешеченный балкон — внизу, в маленьком немощем патио играли несколько полуголых мальчиков. Один из них, стоя на плечах у другого, явно подражал муэдзину: крепко зажмурив глаза, он распевал «Нет Бога, кроме Аллаха». Тот, что поддерживал его, стоял неподвижно, изображая минарет; третий, на коленях, ползал в пыли, представляя собрание верующих. Игра быстро прекратилась — каждый хотел быть муэдзином, и никто — верующим или башней. Аверроэс слышал, как они спорили на «грубом» наречии, то есть на возникающем испанском языке мусульманских плебеев полуострова. Он раскрыл «Китах уль айн»^[80] Халиля и с гордостью подумал, что во всей Кордове (а возможно, и во всем Аль-Андалусе) нет другой копии совершенного творения, кроме вот этой, подаренной ему эмиром Якубом аль-Мансуром в Танжере. Название гавани напомнило ему, что нынче вечером путешественник Абу-ль-Касим аль-Ашри, возвратившийся из Марокко, будет вместе с ним ужинать у Фараджа, знатока Корана. Абу-ль-Касим рассказывал, что он достиг областей империи Син (то есть Китая); его враги, с той особой логикой, какую порождает ненависть, клялись, что нога его не ступала на землю Китая, но также — что в храмах той страны он хулил Аллаха. Встреча, несомненно, продлится несколько часов, и Аверроэс поспешно взялся снова за «Тахафут». Трудился он до самых сумерек.

Беседа у Фараджа перешла от несравненных добродетелей правителя к добродетелям его брата-эмира, затем, уже в саду, заговорили о розах. Абу-ль-Касим, на них и не взглянув, клялся, что нет роз лучше тех, которые украшают андалусские виллы. Фарадж не дал себя смутить — он заметил, что ученый Ибн Кутайба описывает замечательную разновидность вечноцветущей розы, растущей в садах Индостана, ярко-красные лепестки которой образуют буквы, гласящие: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его». Он прибавил, что Абу-ль-Касим, наверно, видел эти розы. Абу-ль-Касим взглянул на него с тревогой. Если ответить «да», все справедливо сочтут его бессовестным и наглым обманщиком; если ответить «нет», сочтут безбожником. Он предпочел пробормотать, что, мол, ключи от всех тайн у Господа и нет на земле ничего, ни увядшего, ни зеленого, что не было бы записано в Его Книге. Слова эти, взятые из одной из первых сур, были встречены почтительным шепотом. Возгордясь победой своего хитроумия, Абу-ль-Касим прибавил, что Господь в своих творениях совершенен и непостижим. Тогда Аверроэс, предвосхищая будущие рассуждения еще не родившегося Юма^[81], заявил:

— Мне легче допустить наличие ошибки у ученого ибн Кутайбы или у переписчиков, чем допустить, что земля порождает розы с символом веры.

— Именно так. Великие и справедливые слова, — молвил Абу-ль-Касим.

— Один путешественник, — вспомнил поэт Абд аль-Малик^[82], — говорит о древе, плоды которого — зеленые птицы. Мне куда легче поверить этому, чем в розы с буквами.

— Возможно, тут цвет птиц, — сказал Аверроэс, — способствует чуду. Кроме того, плоды и птицы принадлежат к миру природы, а письмо — это искусство. Перейти от листьев к птицам легче, чем от роз к буквам.

Кто-то из гостей с негодованием отверг эту мысль, будто письмо есть искусство, ибо оригинал Корана — «Мать Книги» — предшествовал созданию мира и хранится на небесах. Еще один гость упомянул Джахиза из Басры, сказавшего, что Коран — это субстанция, способная принять форму человека или животного, каковое мнение как будто согласуется с мнением тех, кто приписывает Корану два лица. Фарадж принялся многословно излагать ортодоксальную точку зрения. Коран (сказал он) — это один из атрибутов Бога, подобно Его милосердию; Коран записывают в книгу, его произносят языком, его запоминают сердцем — речь и знаки письма суть творения людей, но Коран неизменен и вечен. Аверроэс, написавший комментарий к «Республике»^[83], мог бы сказать, что «Мать

Книги» — это как бы ее платоническая идея, но он увидел, что богословие — предмет, для Абу-ль-Касима вовсе недоступный.

Прочие гости, также это подметившие, пристали к Абу-ль-Касиму с просьбой поведать о какой-нибудь диковине. В те времена, как и в нынешние, мир был жесток: путешествовать по нему могли смельчаки, но также негодяи, готовые на все. Память Абу-ль-Касима была как бы зеркалом его душевной робости. Что он мог рассказать? Вдобавок они требуют диковин, а диковинное разве удастся поведать другому? Луна Бенгалии не похожа на луну Йемена, хотя ее можно описать теми же словами. Абу-ль-Касим помедлил, потом начал.

— Человек, посещающий разные края и города, — вкрадчиво заговорил он, — видит многое, достойное упоминания. Вот, например, история, о которой я рассказывал только один раз султану турков. Она произошла в Син Калане (Кантоне), где Река Жизни впадает в море.

Фарадж спросил, на сколько лиг удален этот город от стены, которую Искандер Зул-Карнайн (Двурогий Александр Македонский) воздвиг, дабы преградить путь Гогу и Магогу^[84].

— Она отделена от города пустыней, — сказал Абу-ль-Касим с невольным высокомерием. — Сорок дней надобно идти кафиле (каравану), чтобы увидеть вдали ее башни, и, говорят, еще столько же, чтобы до нее добраться. В Син Калане я не знал ни одного человека, который бы видел ее или видел человека, который ее видел.

Страх перед чудовищной бесконечностью, перед голым пространством, перед голой материей на мгновение прохватил Аверроэса. Он оглядел симметрично устроенный сад и почувствовал себя постаревшим, бесполезным, нереальным. Абу-ль-Касим продолжал:

— Однажды вечером мусульманские купцы в Син Калане повели меня в дом из раскрашенного дерева, в котором находилось много народу. Описать этот дом невозможно — это, скорее, была одна большая зала с рядами галерей или балконов, расположенных один над другим. Люди, сидя на этих балконах, ели и пили, то же самое делали люди внизу, на полу, и на каком-то возвышении, вроде террасы. Люди на террасе били в барабаны и играли на лютнях, кроме пятнадцати или двадцати человек — эти были в красных масках, — которые молились, пели и разговаривали. Они страдали в оковах, но тюрьмы не было видно; скакали верхом, но лошадей не было; сражались, но мечи были из тростника; умирали, а потом вставляли на ноги.

— Поступки умалишенных, — сказал Фарадж, — превосходят воображение разумного человека.

— Они не были умалишенными, — пришлось Абу-ль-Касиму пояснить. — Как сказал мне один из купцов, они изображали какую-то историю.

Никто не понял, никто, видимо, и не пытался понять. Абу-ль-Касим, смущенный, перешел от спокойного рассказа к дерзким рассуждениям. Размахивая руками, он заговорил снова:

— Вообрази себе, что кто-то показывает историю, вместо того чтобы ее рассказывать. Пусть, к примеру, это будет история о спящих в Эфесе. Мы видим, как они удаляются в пещеру, видим, как молятся и засыпают, видим, как они спят с открытыми глазами, видим, как во время сна растут, видим, как просыпаются через триста девять лет, видим, как дают торговцу старинную монету, видим, как они пробуждаются в раю, видим, как с ними пробуждается собака. Нечто подобное нам показали в тот вечер люди на террасе.

— Люди эти говорили? — спросил Фарадж.

— Разумеется, говорили, — сказал Абу-ль-Касим, превращаясь в апологета представления, которое едва помнил и на котором изрядно скучал. — Говорили, и пели, и рассуждали!

— В таком случае, — сказал Фарадж, — не требовалось двадцати человек. Один балагур может рассказать любую историю, даже самую сложную.

Его мнение все одобрили. Стали восхвалять достоинства арабского языка, которым пользуется Бог, дабы управлять ангелами; затем заговорили о поэзии арабов. Абу-аль-Малик, отдав ей положенную дань хвалебных слов, обозвал устаревшими поэтов, которые в Дамаске или в Кордове все еще держатся пастушеских образов и словаря бедуинов. Ведь это нелепо, сказал он, чтобы человек, перед глазами которого простирается Гвадалквивир, воспевал воду из колодца. Он призывал обновить древние метафоры — когда, мол, Зухайр сравнил судьбу со слепым верблюдом, эта фигура могла восхищать людей, но за пять веков восхищения она поизносилась. Все одобрили его суждение, которое слышали уже много раз и из многих уст. Аверроэс молчал. Наконец он заговорил, не столько для других, но как бы размышляя вслух.

— Случалось и мне, — сказал Аверроэс, — не так красноречиво, но с подобными же доводами защищать мнение, которое высказал Абд аль-Малик. В Александрии говорили, что не может согрешить лишь тот, кто согрешил и раскаялся; добавим к этому: чтобы быть свободным от заблуждения, надо побывать у него в плену. Зухайр в «Муаллакат»^[85] говорит, что по прошествии восьмидесяти лет страданий и славы он видел

много раз, как судьба обрушивается вдруг на человека, подобно слепому верблюду. Абд аль-Малик полагает, что этот образ уже не способен восхищать. На его замечание можно было бы возразить многое. Первое: если бы целью стиха было удивить, его время измерялось бы не веками, но днями и часами, а может, и минутами. Второе: знаменитый поэт не столько изобретатель, сколько открыватель. В похвалу Ибн Шарафа из Верхи говорят, что только он мог придумать, будто звезды на утренней заре медленно опадают, как листья опадают с деревьев; если они правы, этот образ ничего не стоит. Образ, который может быть придуман только одним человеком, никого не трогает. На земле бесконечное множество всяких вещей, каждую можно сравнивать с любой другой. Сравнение звезд с листьями не менее произвольно, чем сравнение их с рыбами или птицами. И напротив, нет такого человека, который бы хоть раз не почувствовал, что судьба могуча и тупа, что она безвинна и в то же время беспощадна. Ради этой мысли, которая может быть мимолетной или неотвязной, и написан стих Зухайра. Сказать лучше, чем сказано у него, невозможно. Кроме того, — и это, пожалуй, главное в моем рассуждении — время, разоряющее дворцы, обогащает стихи. Стих Зухайра, написанный им тогда в Аравии, сопоставлял два образа — образ старого верблюда и образ судьбы; но, прочитанный теперь, он вдобавок воскрешает память о Зухайре и побуждает нас отождествить свои горести с горестями этого умершего араба. Прежде у этого образа было два свойства, теперь их стало четыре. Время расширяет сферу стиха, и я знаю такие строки, что, подобно музыке, звучат всегда и для всех людей. Так, когда меня несколько лет тому в Марракеше мучила тоска по Кордове, мне приятно было повторять возглас Абдар-Рахмана, обращенный им в садах Русафы^[86] к африканской пальме:

И ты, о пальма, тоже
В садах сих чужестранка!..

Удивительное свойство поэзии! Слова, сочиненные королем, тосковавшим по Востоку, помогали мне, сосланному в Африку, в моей ностальгии по Испании.

Затем Аверроэс заговорил о древних поэтах, о тех, что во Времена Темноты, до ислама, уже все сказали на беспредельном языке пустынь. Встревоженный — и не без основания — мелочной вычурностью Ибн Шарафа, он сказал, что у древних и в Коране заключена вся поэзия, и осудил как невежество и суетность притязания вводить новшества. Все

слушали его с удовольствием, ибо он защищал старину.

Муэдзины призывали на молитву первого луча, когда Аверроэс вернулся в свою библиотеку. (В гареме за это время черноволосые рабыни успели помучить рабыню рыжеволосую, но он об этом узнает только к вечеру.) Что-то помогло ему понять смысл двух темных слов. Твердым, каллиграфическим изящным почерком он добавил в рукописи следующие строчки: «Аристу (Аристотель) именует трагедией панегирики и комедией — сатиры и проклятия. Великолепные трагедии и комедии изобилуют на страницах Корана и в „Муаллакат“ семи священных».

Он почувствовал, что хочет спать и что немного озяб. Размотав тюрбан, он поглядел на себя в металлическое зеркало. Не знаю, что увидели его глаза, потому что ни один историк не описал его черт. Знаю лишь, что внезапно он исчез, словно пораженный незримою молнией, и вместе с ним исчезли дом, и невидимый фонтан, и книги, и рукописи, и голуби, и множество черноволосых рабынь, и дрожащая рабыня с рыжими волосами, и Фарадж, и Абу-ль-Касим, и кусты роз, и, возможно, Гвадалквивир.

В этом рассказе я хотел описать процесс одного поражения. Сперва я подумывал о том архиепископе Кентер-берийском, который вознамерился доказать, что Бог един; затем об алхимиках, искавших философский камень; затем об изобретавших трисекцию угла и квадратуру круга. Но потом я рассудил, что более поэтичен случай с человеком, ставившим себе цель, доступную другим, но не ему. Я вспомнил об Аверроэсе, который, будучи замкнут в границах ислама, так и не понял значения слов «трагедия» и «комедия». Я изложил этот случай; в процессе писания я чувствовал то, что должен был чувствовать упоминаемый Бертоном Бог, который задумал создать быка, а создал буйвола. Я почувствовал, что мое произведение насмехается надо мной. Почувствовал, что Аверроэс, стремившийся вообразить, что такое драма, не имея понятия о том, что такое театр, был не более смешон, чем я, стремящийся вообразить Аверроэса, не имея иного материала, кроме крох Ренана, Лэйна и Асина Паласьоса. Почувствовал, уже на последней странице, что мой рассказ — отражение того человека, каким я был, пока его писал, и, чтобы сочинить этот рассказ, я должен был быть именно тем человеком, а для того, чтобы быть тем человеком, я должен был сочинить этот рассказ, и так — до бесконечности. (В тот миг, когда я перестаю верить в него, Аверроэс исчезает.)

В Буэнос-Айресе Заир — обычная монета достоинством в двадцать сентаво; на той монете навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы N и T и цифра 2; год 1929-й выгравирован на аверсе. (В Гуджарате в конце XVIII века Захиром звали тигра; на Яве — слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями; в Персии Захиром называлась астролябия, которую Надир-шах велел забросить в морские глубины; в тюрьмах Махди году в 1892-м это был маленький, запеленутый в складки тюрбана компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон Слатин; в кордовской мечети, согласно Зотенбергу, это была жилка в мраморе одной из тысячи двухсот колонн; в еврейском квартале Тетуана — дно колодца.) Сегодня тринадцатое ноября; а седьмого июня, на рассвете, в руки мне попал Заир; теперь я уже не тот, каким был тогда, хотя еще в состоянии припомнить, а возможно, даже и рассказать о случившемся. Пока еще, хотя бы отчасти, я остаюсь Борхесом.

Шестого июня умерла Теодолина Вильяр. До 1930 года ее портреты заполняли светские журналы; возможно, обилие их способствовало тому, что ее считали красивой, хотя не все ее изображения безоговорочно подтверждали эту гипотезу. Впрочем, Теодолина Вильяр не столько заботилась о красоте, сколько о совершенстве. Евреи и китайцы разработали жесткие правила на все случаи жизни; в Мишне мы читаем, что в субботу после наступления сумерек портной не должен выходить на улицу с иглой; в Книге обрядов говорится, что гость первый бокал должен пить с серьезным видом, а второй — с почтительным и счастливым. Подобным же образом и даже более скрупулезно соблюдала разнообразные правила и ритуалы Теодолина Вильяр. Словно приверженец учения Конфуция или Талмуда, она стремилась к безупречной правильности каждого поступка, и старания ее были тем упорнее и тем более достойны восхищения, что критерии, которыми она руководствовалась, не являлись вечными, но зависели от прихотей Парижа или Голливуда. Теодолина Вильяр появлялась в положенных местах, в положенное время, со всеми положенными для данного случая атрибутами и, как положено, с видом человека, уставшего от всего этого; однако вскоре и этот вид, и атрибуты, и час, и места, совсем еще недавно считавшиеся положенными, выходили из моды, и тогда они незамедлительно начинали служить (в устах Теодолины Вильяр) символом дурного тона. Она, как Флобер, искала абсолюта, но

искала его в мимолетном. Жизнь ее была образцово-показательной, и тем не менее изнутри ее безостановочно грызло отчаяние. Она то и дело пускалась в метаморфозы, будто желала убежать от себя самой: и цвет ее волос, и прически беспрестанно менялись. Точно так же меняла она улыбку, цвет лица, разрез глаз. С 1932 года она, бросив на это все силы, стала худой... Война заставила ее о многом задуматься. Париж оккупирован немцами — как в таких условиях следовать моде? Один иностранец, а к иностранцам она всегда относилась подозрительно, позволил себе злоупотребить ее доверием и продал ей некоторое количество шляпок с плоской тульей; не прошло и года, как выяснилось, что эти нашлапки *никогда не носили в Париже*, а следовательно, они были не шляпками, а чьим-то ни на чем не основанным и никем не освященным капризом. Беда не приходит одна; доктор Вильяр вынужден был переехать на улицу Араос, и портрет его дочери стал украшать рекламу кремов и автомобилей. (Кремов, которыми ей теперь приходилось пользоваться в огромных количествах, и автомобилей, которых у нее больше не было!) Она знала, что успешно упражняться в любимом искусстве можно лишь с очень большими деньгами, и предпочла удалиться от света. Кроме того, ей претило состязание с пустыми, ничтожными девицами. Мрачная конура на улице Араос оказалась слишком дорогой; и шестого июня Теодолина Вильяр допустила промашку — умерла в самом сердце Южного квартала. Надо ли признаваться, что я, движимый наиболее искренней из всех аргентинских страстей — снобизмом, был влюблен в нее и, узнав о ее смерти, не мог сдержать слез? Читатель, наверное, и сам успел догадаться об этом.

После смерти лицо покойного, меняясь под действием разложения, приобретает прежние черты. В какой-то момент той приведшей меня в смятение ночи шестого июня Теодолина Вильяр, точно по волшебству, вдруг стала такой, какой была двадцать лет назад; черты ее вновь обрели властность, которую придают высокомерие, деньги, молодость, сознание, что ты венчаешь иерархическую пирамиду, недостаток воображения, ограниченность, глупость. Я думал примерно так: ни одно из выражений этого лица, так меня волновавшего, не может запасть в память глубже, чем это; а потому пусть оно станет для меня последним, раз оно было и первым. Я оставил ее застывшей в цветах, продолжавшей с помощью смерти совершенствовать мину полного презрения. Было часа два ночи, когда я вышел на улицу. Ряды низеньких, одноэтажных домиков, которые я и ожидал увидеть, приняли тот отвлеченный вид, какой бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают их еще проще, чем они есть. Я

побрел, опьяненный почти безличной жалостью. На углу улиц Чили и Такуари я увидел еще открытый альмасен. В этом альмасене, на мою беду, трое мужчин играли в карты.

В фигуре, носящей название *оксиморон*, слово снабжено эпитетом, который как бы противоречит смыслу этого слова; так, гностики говорили о темном свете, алхимики — о черном солнце. Равным образом и для меня выпить водки в жалком альмасене после того, как я видел Теодолину Вильяр в последний раз, было своего рода оксимороном; главное искушение состояло в том, что это было грубо и доступно. (Контраст усугублялся тем, что рядом играли в карты.) Я спросил апельсиновой водки; на сдачу мне дали Заир; я поглядел на монету и вышел на улицу, кажется, у меня начинался жар. Я подумал, что нет монеты, которая не была бы символом всех тех бесчисленных монет, что сверкают в истории и в сказках. Я вспомнил монету, которой расплачиваются с Хароном; обол, который просил Велисарий; тридцать сребреников Иуды; драхмы куртизанки Лаис; старинные монеты, предложенные спящим из Эфеса, светлые заколдованные монетки из «1001 ночи», которые потом стали бумажными кружочками; неизбывный динарий Исаака Лакедема; шестьдесят тысяч монет — по одной за каждый стих эпopeи, — которые Фирдоуси вернул царю, потому что они были серебряными, а не золотыми; золотую унцию, которую Ахав велел прибить на мачте; невозвратимый флорин Леопольда Блума; луидор, который близ Варенна выдал беглеца Людовика XVI, поскольку именно он был отчеканен на этом луидоре. Как бывает во сне, мысль о том, что любая монета дает основание для столь замечательных наблюдений, показалась мне необыкновенно, хотя и необъяснимо важной. Я еще быстрее зашагал по пустынным улицам и площадям. И, выбившись из сил, остановился на углу. Я увидел многострадальную железную решетку; за ней — черно-белый плитчатый пол портика монастыря Непорочного Зачатия. И понял, что очертил полный круг и снова оказался в десяти шагах от альмасена, где мне дали Заир.

Я свернул за угол и издали по темноте, окутывавшей дом, догадался, что лавка заперта. На улице Бельграно я взял такси. Спать совсем не хотелось; одержимо, чувствуя себя почти счастливым, я думал о том, что нет не свете вещи менее материальной, нежели деньги, ибо любая монета (скажем, монета в двадцать сентаво) на деле представляет собой целый набор всевозможных вариантов будущего. Деньги абстрактны, твердил я, деньги — это то, что будет. Они могут стать загородной поездкой, а могут — музыкой Брамса, могут обратиться картой, а могут — шахматами, или чашкой кофе, или поучением Эпиктета о презрении к золоту; это Протей

еще более переменчивый, чем Протей с острова Фарос. Это время, которое невозможно предвидеть, время Бергсона, а не жесткое время Ислама или стоиков. Детерминисты отрицают, что в мире могут существовать отдельные друг от друга события, id est^[88] что события могут свершаться сами по себе, монета же символизирует для нас свободу воли. (Я и не подозревал, что эти «мысли» специально плелись против Заира и были первым проявлением его демонического влияния.) Устав от напряженного мудрствования, я заснул, и мне приснилось, что я превратился в монеты, которые охраняет гриф.

На следующий день я решил, что был пьян. И все-таки задумал избавиться от монеты, так меня беспокоившей. Я стал ее разглядывать: ничего особенного, разве что царапины, нанесенные ножом. Лучше всего было бы зарыть ее в саду или спрятать где-нибудь в библиотеке, но мне хотелось сойти с ее орбиты. И я надумал потерять ее. В то утро я не пошел в церковь Святой Пилар и не был на кладбище, а поехал на метро к площади Конституции, оттуда — на Сан-Хуан и Боэдо. Сошел, не размышляя, на станции Уркиса, пошел на запад, потом на юг; не выбирая дороги, несколько раз сворачивал и наконец на улице, которая показалась такой же, как все остальные, вошел в первую попавшуюся лавку, попросил рюмку водки и расплатился Заиром. Щуря глаза за темными очками, я старался не видеть номера домов и названия улиц. Перед сном я принял таблетку веронала и ночь проспал спокойно.

До конца июня я развлекался сочинением фантастического рассказа. В рассказе есть загадочные подмены: вместо слова «кровь» говорится «вода меча»; вместо слова «золото» — «ложе змеи», и повествование ведется от первого лица. Рассказчик — аскет, который отрекся от общения с людьми и живет один в пустыне. (Гнитхейдр — называется это место.) За чистоту и неприязнательность жизни, которую он ведет, некоторые считают его ангелом; однако это — свойственное верующим преувеличение, ибо не бывает людей безвинных. Так и он, чтобы не ходить далеко за примером, зарезал собственного отца, правда, тот был знаменитым ведьмаком, который с помощью колдовства завладел несметными сокровищами. Уберечь сокровища от нездоровой человеческой алчности — этой цели пустынный посвятил жизнь; денно и нощно он бдительно охраняет их. Но скоро, быть может слишком скоро, бдению его придет конец: звезды ему поведали, что уже выкован меч, который его сразит (Грам — имя того меча.) С каждым разом все более выпренне превозносит он гибкость и блеск своего тела; то упоенно говорит о чешуе, то сообщает, что сокровища, которые он охраняет, — сверкающее золото и красные кольца.

В конце мы понимаем, что аскет — на самом деле змей Фафнир, а сокровища, на которых он лежит, — сокровища Нибелунгов. Появление Сигурда обрывает повествование.

Я уже говорил, что, занявшись этой чепухой (в которую я, щеголяя псевдоэрудицией, вплел стих из «Фафнисмаля»), я забыл о монете. Случалось, ночами у меня возникала вдруг уверенность, что я могу забыть о ней, и я заставлял себя ее вспоминать. Надо признаться, я злоупотребил этим; начать оказалось гораздо проще, чем с этим покончить. Тщетно твердил я себе, что ненавистный никелевый кружок ничем не отличается от остальных, переходящих из рук в руки, что их не счесть и все они совершенно одинаковы и безобидны. Имея в виду этот довод, я попытался думать о другой монете, но не смог. Помню, провалилась и попытка с пятью и десятью чилийскими сентаво, равно как и с уругвайской монетой. Шестнадцатого июля я приобрел фунт стерлингов и целый день не смотрел на него, а ночью (и во все последующие ночи) разглядывал его под увеличительным стеклом при свете сильной электрической лампы. Потом карандашом перерисовал его на бумагу. Однако ни его блеск, ни дракон, ни святой Георгий не помогли: сменить объект навязчивой идеи мне не удалось.

В августе я решил посоветоваться с психиатром. Я не поверил ему подробностей своей нелепой истории; сказал, что меня мучит бессонница и неотвязно преследует образ какого-то предмета, ну, скажем, жетона или монеты... А немного позже я раскопал в книжном магазине на улице Сармьенто экземпляр «*Urkunden zur Geschichte der Zahirsage*»^[89] (Бреслау, 1899) Юлиуса Барлаха.

В книге описывался мой недуг. В предисловии говорилось, что автор задался целью «собрать в едином томе удобного формата ин-октаво все документы, имеющие отношение к суевериям, связанным с Заиром, в том числе четыре свидетельства из архива Хабихта и оригинальную рукопись сообщения Филиппа Медоуза Тейлора». Верование в могущество Заира — исламского происхождения и датируется, судя по всему, XVIII веком. (Барлах опровергает положения, которые Зотенберг приписывает Абульфиде.) Слово «Захир» по-арабски значит «заметный», «видимый»; и в этом значении оно является одним из девяноста девяти имен Бога; простой народ в мусульманских землях относит Заир к числу «существ или вещей, наделенных ужасным свойством не забываться, изображение которых в конце концов сводит человека с ума». Первое неоспоримое свидетельство принадлежит персу Лутф Али Азуру. В подробной и обширной биографической энциклопедии, озаглавленной «Храм Огня», этот полиграф

и дервиш рассказывает, что в одном из учебных заведений Ширази была медная астрология, «сделанная таким образом, что стоило кому-нибудь увидеть ее хоть раз, и он больше не мог думать ни о чем другом, и потому царь повелел забросить ее в глубины морские, дабы люди не забывали о Вселенной». Более пространно сообщение Медоуза Тейлора, который служил у Низама Хайдарабадского и написал знаменитый роман «Confessions of a Thug».^[90] Году в 1832-м Тейлор услышал в предместьях Бхуджа странное выражение «Он посмотрел на Тигра» (Verily he has looked on the Tiger), которое означало безумие или святость человека. Ему рассказали, что имеется в виду магический тигр, увидеть которого было равносильно гибели, даже если его видели издалека, ибо каждый потом до конца дней думал только о нем. Кто-то рассказал, что один из этих несчастных бежал в Мисор и там на стене дворца нарисовал тигра. Спустя годы Тейлор побывал в тюрьмах этого царства; в тюрьме Нитура губернатор показал ему камеру, на полу, на стенах и сводах которой мусульманский факир изобразил (кричащими красками, которые время, прежде чем стереть, облагородило) нечто вроде бесконечного тигра. Этот тигр состоял из множества причудливым образом переплетававшихся тигров, и тело из тигров, и полосы из тигров, и даже моря, Гималаи и войска, проглядывавшие там, тоже были как будто из тигров. Художник умер много лет назад в этой самой камере; он был родом из Синда или из Гуджерата, и первоначальной его целью было нарисовать карту мира. Следы этого намерения остались в чудовищном изображении. Тейлор рассказал эту историю Махаммуду Аль-Йемени из Форт-Вильяма; тот в ответ заметил, что не было на земле создания, которое бы не склонилось перед Zaheer,^[91] но что Всемилостивый не позволяет, чтобы Заиром в одно и то же время были две различные вещи, ибо только одна может целиком завладеть людской толпой. Он сказал, что всегда есть только один Заир и что в Пору Невежества им был идол по имени Йаук, а потом — пророк из Хорасана, который носил покров, расшитый камнями, и золотую маску.^[92] И еще он сказал, что Бог непостижим.

Я читал и перечитывал книгу Барлаха. Не стану описывать свои переживания; помню только, что мною овладело отчаяние, когда я понял, что спасения мне не будет, и огромное облегчение от мысли, что я не повинен в собственной беде, и зависть, которую я испытывал к людям, для кого Заир был не монетой, а кусочком мрамора или тигром. До чего легко было бы не думать о тигре, казалось мне. И еще помню, с каким беспокойством прочел я строки: «Один из комментаторов книги „Гулшан-

и-раз“ говорит, что тот, кто видел Заир, в скором времени увидит и Розу, и приводит в доказательство стих из „Асрар-Нама“ (Книги о вещах неведомых) Аттара: „Заир — это тень Розы и царапина от Воздушного покрова“».

В ту ночь, когда тело Теодолины лежало в гробу, меня удивило, что я не увидел среди присутствовавших сеньоры Абаскаль, ее младшей сестры. А в октябре одна ее подруга сказала мне:

— Бедняжка Хулита такая стала странная, ее поместили в лечебницу Босха. Видно, сестрам приходится с ней нелегко, еще бы — кормят с ложечки. Из рук не выпускает монетки — точь-в-точь как шофер Морены Сакман.

Время, приглушающее воспоминания, мысли о Заире, напротив, обостряет. Раньше я представлял себе сначала его аверс, а потом реверс; теперь же я мысленно могу увидеть сразу обе стороны монеты. И не так, как если бы Заир был стеклянным, скорее это похоже на то, что зрение у меня сферическое и Заир находится в самом центре этой сферы. Все, что не Заир, с трудом, как сквозь сито, доходит до меня и кажется далеким: и полный презрения облик Теодолины, и физическая боль. Теннисон сказал, что, если бы нам удалось понять хотя бы один цветок, мы бы узнали, кто мы и что собой представляет весь мир. Быть может, он хотел сказать, что нет события, каким бы ничтожным оно ни выглядело, которое бы не заключало в себе истории всего мира со всей ее бесконечной цепью причин и следствий. Быть может, он хотел сказать, что весь видимый мир предстает перед нами в любом его проявлении, таким же образом, каким воля, по мнению Шопенгауэра, предстает полностью в каждом субъекте. Каббалисты понимали, что каждый человек — это микрокосмос, символическое зеркало вселенной; и, по мнению Теннисона, все является таковым. Все, даже этот невыносимый Заир.

К 1948 году участь Хули b, наверное, постигнет и меня. Меня станут кормить с ложечки и одевать, и я не буду знать, вечер на дворе или утро и кто такой Борхес. Назвать это будущее ужасным было бы неправильно, поскольку ничто в мире не будет меня трогать. Равно как нельзя сказать, будто человек, которому под наркозом вскрывают череп, испытывает ужасную боль. Мир перестанет существовать для меня, для меня будет существовать один Заир. Согласно учению идеалистов, слова «жить» и «видеть сон» — точные синонимы; от тысяч кажимостей я перейду к одной; из сна необычайно сложного — в до крайности простой сон. Другим привидится, что я безумен, а мне будет видеться один Заир. Когда же все люди на земле день и ночь будут думать только о Заире, что будет сном и

что — действительно, земля или Заир?

В безлюдные ночные часы я еще могу ходить по улицам. Заря застаёт меня на площади Гарая, я сижу на скамейке, размышляя (пытаясь размышлять) над тем местом из «Асрар-Нама», где говорится, что Заир — тень Розы и царапина Воздушного покрова. Я связываю это суждение с такими сведениями: «Чтобы затеряться в Боге, приверженцы суфизма повторяют собственное имя или девяносто девять имен Бога до тех пор, пока те перестают что-то значить», и мечтаю пойти по этому пути. Может быть, кончится тем, что я растрачу Заир, так много и с такой силой о нем думая; а может быть, там, за монетой, и находится Бог.

Посвящается Уолли Зеннер

Письмена бога

Каменная темница глубока; изнутри она схожа с почти правильным полушарием; пол (тоже каменный) чуть меньше его наибольшей окружности, и потому тюрьма кажется одновременно гнетущей и необъятной. Посередине полусферы перерезает стена; очень высокая, она все же не достает верхней части купола; с одной стороны нахожусь я, Тсиначан, маг пирамиды Кахолома, которую сжег Педро де Альварадо; с другой — ягуар, мерящий ровными и незримыми шагами пространство и время своей клетки. В центральной стене, на уровне пола, пробито широкое зарешеченное окно. В час без тени (полдень) вверху открывается люк, и тюремщик, ставший от времени безликим, спускает нам на веревке кувшины с водой и куски мяса. Тогда в темноту проникает свет, и я могу увидеть ягуара.

Я потерял счет годам, проведенным во мраке; когда-то я был молод и мог расхаживать по камере, а теперь лежу в позе мертвеца, и мне остается только ждать уготованной богами кончины. Когда-то длинным кремневым ножом я вспарывал грудь людей, приносимых в жертву; теперь без помощи магии я не сумел бы подняться с пыльного пола.

Накануне сожжения пирамиды сошедшие с высоких коней люди пытали меня раскаленным железом, чтобы выведать, где находится сокровищница. У меня на глазах была низвергнута статуя Бога, но Бог не оставил меня и помог промолчать под пыткой. Меня бичевали, били, калечили, а потом я очнулся в этой темнице, откуда мне уже не выйти живым.

Чувствуя необходимость что-то делать, как-то заполнить время, я, лежа во тьме, принялся мысленно воскрешать все, что когда-то знал. Я проводил целые ночи, припоминая расположение и число каменных змеев или свойства лекарственных деревьев. Так мне удалось обратить в бегство годы и снова стать властелином того, что мне принадлежало. Однажды ночью я почувствовал, что приближаюсь к драгоценному воспоминанию: так путник, еще не увидевший моря, уже ощущает его плеск в своей крови. Через несколько часов воспоминание прояснилось: то было одно из преданий, связанных с Богом. Предвидя, что в конце времен случится множество бед и несчастий, он в первый же день творения начертал магическую формулу, способную отвратить все эти беды. Он начертал ее таким образом, чтобы она дошла до самых отдаленных поколений и чтобы

никакая случайность не смогла ее исказить. Никому не ведомо, где и какими письменами он ее начертал, но мы не сомневаемся, что она тайно хранится где-то и что в свое время некий избранник сумеет ее прочесть. Тогда я подумал, что мы, как всегда, находимся при конце времен и что моя судьба — судьба последнего из служителей Бога — быть может, даст мне возможность разобрать эту надпись. То обстоятельство, что я находился в темнице, не лишало меня надежды; вполне вероятно, что я уже тысячи раз видел эти письмена в КахолOME, только не смог их понять.

Эта мысль ободрила меня, а затем довела до головокружения. По всей земле разбросано множество древних образов, неизгладимых и вечных; любой из них способен служить искомым символом. Словом Бога может оказаться гора, или река, или империя, или сочетание звезд. Но горы с течением времени рассыпаются в прах, реки меняют свои русла, на империи обрушиваются превратности и катастрофы, да и рисунок звезд не всегда одинаков. Даже небосводу ведомы перемены. Гора и звезда — те же личности, а личность появляется и исчезает. Тогда я стал искать нечто более стойкое, менее уязвимое. Размышлять о поколениях злаков, трав, птиц, людей. Быть может, магическая формула начертана на моем собственном лице, и я сам являюсь целью моих поисков. В этот миг я вспомнил, что одним из атрибутов Бога служил ягуар.

И благоговейный восторг овладел моей душой. Я представил себе первое утро времен, вообразил моего Бога, запечатлевающего свое послание на живой шкуре ягуаров, которые без конца будут спариваться и приносить потомство в пещерах, зарослях и на островах, чтобы послание дошло до последних людей. Я представил себе эту кошачью цепь, этот лабиринт огромных кошек, наводящих ужас на поля и стада во имя сохранности предначертания. Рядом со мной находился ягуар; в этом соседстве я усмотрел подтверждение моей догадки и тайную милость Бога.

Долгие годы я провел, изучая форму и расположение пятен. Каждый слепой день дарил мне мгновение света, и тогда я смог закрепить в памяти черные письмена, начертанные на рыжей шкуре. Одни из них выделялись отдельными точками, другие сливались в поперечные полосы, третьи, кольцевые, без конца повторялись. Должно быть, то был один и тот же слог или даже слово. Многие из них были обведены красноватой каймой.

Не буду говорить о тяготах моего труда. Не раз я кричал, обращаясь к стенам, что разобрать эти письмена невозможно. И мало-помалу частная загадка стала мучить меня меньше, чем загадка более общая: в чем же смысл изречения, начертанного Богом?

«Что за изречение, — вопрошал я себя, — может содержать в себе

абсолютную истину?» И пришел к выводу, что даже в человеческих наречиях нет предложения, которое не отражало бы всю вселенную целиком; сказать «тигр» — значит вспомнить о тиграх, его породивших, об оленях, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле, что была матерью травы, о небе, произведшем на свет землю. И я осознал, что на божьем языке это бесконечную переключку отзвуков выражает любое слово, но только не скрытно, а явно, и не поочередно, а разом. Постепенно само понятие о божьем изречении стало мне казаться ребяческим и кощунственным. «Бог, — думал я, — должен был сказать всего одно слово, вмещающее в себя всю полноту бытия^[93]. Не один из произнесенных им звуком не может быть менее значительным, чем вся вселенная или по крайней мере чем вся совокупность времен. Жалкие и хвастливые человеческие слова — такие, как „все“, „мир“, „вселенная“, — это всего лишь тени и подобия единственного звука, равного целому наречию и всему, что оно в себе содержит».

Однажды ночью (или днем) — какая может быть разница между моими днями и ночами? — я увидел во сне, что на полу моей темницы появилась песчинка. Не обратив на нее внимания, я снова погрузился в дрему. И мне приснилось, будто я проснулся и увидел две песчинки. Я опять заснул, и мне пригрезилось, что песчинок стало три. Так они множились без конца, пока не заполнили всю камеру, и я начал задыхаться под этой горой песка. Я понял, что продолжаю спать, и, сделав чудовищное усилие, пробудился. Но пробуждение ни к чему не привело: песок по-прежнему давил на меня. И некто произнес: «Ты пробудился не к бдению, а к предыдущему сну^[94]. А этот сон в свою очередь заключен в другом, и так до бесконечности, равной числу песчинок. Путь, на который ты вступил, нескончаем; ты умрешь, прежде чем проснешься на самом деле».

Я почувствовал, что погибаю. Рот у меня был забит песком, но я сумел прокричать: «Приснившийся песок не в силах меня убить, и не существует сновидений, порождаемых сновидениями!» Меня разбудил отблеск. В мрачной вышине вырисовывался светлый круг. Я увидел лицо и руки тюремщика, блок и веревку, мясо и кувшины.

Человек мало-помалу принимает обличие своей судьбы, сливается воедино со своими обстоятельствами^[95]. Я был отгадчиком, и мстителем, и жрецом Бога, но прежде всего — узником. Из ненасытного лабиринта сновидений я вернулся в тюрьму, как возвращаются домой. Я благословил сырую темницу, благословил тигра, благословил световой люк, благословил свое дряхлое тело, благословил мрак и камень.

Тогда произошло то, чего я никогда не забуду, но не смогу передать словами. Свершилось мое слияние с божеством и со вселенной (если только два этих слова не обозначают одного и того же понятия). Экстаз не выразишь с помощью символов; один может узреть Бога в проблеске света, другой — в мече, третий — в кольцевидных лепестках розы. Я увидел некое высочайшее Колесо; оно было не передо мной, и не позади меня, и не рядом со мной, а повсюду одновременно. Колесо было огненным и водяным и, хотя я видел его обод, бесконечным. В нем сплелось все, что было, есть и будет; я был одной из нитей этой ткани, а Педро де Альварадо, мой мучитель — другой. В нем заключались все причины и следствия, и достаточно мне было взглянуть на него, чтобы понять все, всю бесконечность. О радость познания, ты превыше радости воображения и чувств! Я видел вселенную и постиг сокровенные помыслы вселенной. Видел начало времен, о котором говорит Книга Совета. Видел горы, восстающие из вод, видел первых людей, чья плоть была древесиной, видел нападавшие на них каменные сосуды, видел псов, что пожирали их лица. Видел безликого Бога, стоящего позади богов. Видел бесчисленные деяния, слагавшиеся в единое блаженство, и, понимая все, постиг также и смысл писмен на шкуре тигра.

То было изречение из четырнадцати бессвязных (или казавшихся мне бессвязными) слов. Мне достаточно было произнести его, чтобы стать всемогущим. Мне достаточно было произнести его, чтобы исчезла эта каменная темница; чтобы день вошел в мою ночь, чтобы ко мне вернулась молодость, чтобы тигр растерзал Альварадо, чтобы священный нож вонзился в грудь испанцев, чтобы восстала из пепла пирамида, чтобы воскресла империя. Сорок слогов, четырнадцать слов — и я, Тсинакан, буду властвовать над землями, которыми некогда владел Моктесума. Но я знаю, что ни за что не произнесу этих слов, ибо тогда забуду о Тсинакане.

И да умрет вместе со мной тайна, запечатленная на шкурах тигров. Кто видел эту вселенную, кто постиг пламенные помыслы вселенной, не станет думать о человеке, о жалких его радостях и горестях, даже если он и есть тот самый человек. Вернее сказать — *был им*, но теперь это ему безразлично. Ему безразличен тот, другой, безразлично, к какому племени тот принадлежит — ведь он сам стал теперь никем. Вот почему я не произнесу изречения, вот почему я коротаю дни, лежа в темноте.

Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте

...могут быть уподоблены пауку, строящему дом.

Коран, XXIX, 40

— Вот здесь, — сказал Данревен и широким жестом, не отвергающим и звезд в облаках, обвел черную безлюдную равнину, море и величественное потрескавшееся здание, напоминающее пришедшую в упадок конюшню, — земля моих предков.

Анвин, его приятель, вытащил изо рта трубку и издал несколько сдержанных одобрительных звуков. Был вечер в начале лета 1914 года; пресытившись миром без опасности, друзья наслаждались уединением в этом уголке Корнуолла. Данревен пестовал темную бородку и был известен как автор величественной эпопеи, в которой его современники почти не могли уловить размера, тема ее не поддавалась пересказу; Анвин опубликовал исследование теоремы, доказательства которой Ферма не записал на полях работы Диофанта. Оба — нужно ли говорить? — были молоды, безрассудны и азартны.

— Прошло почти четверть века, — сказал Данревен, — как Абенхакан эль Бохари, вождь или царь одного из племен нилотов, погиб в центральной комнате этого дома от руки своего племянника Сайда. За все эти годы обстоятельства его смерти не прояснились.

Анвин, как и ожидалось, спросил почему.

— По разным причинам, — последовал ответ. — Во-первых, этот дом — лабиринт. Во-вторых, его охраняли раб и лев. В-третьих, было похищено спрятанное сокровище. В-четвертых, убийца был мертв в момент убийства. В-пятых...

Анвин равнодушно прервал его.

— Не нагромождай загадок, — сказал он. — Эти должны оказаться простыми. Вспомни украденное письмо По, вспомни запертую комнату Зангвилла.

— Или сложными, — ответил Данревен. — Вспомни вселенную.

Поднявшись на песчаный холм, они достигли лабиринта. Вблизи он казался прямой и почти бесконечной стеной из некрашеного кирпича, чуть

выше человеческого роста. Данретен сказал, что дом круглый, но площадь его была так велика, что кривизны не ощущалось. Анвин вспомнил Николая Кузанского, для которого всякая прямая была дугой бесконечно большой окружности. Около полуночи они обнаружили обветшалую дверь, которая вела в глухую и полную опасностей прихожую. Данретен сказал, что внутри дома множество пересечений, но, все время поворачивая налево, они примерно через час дойдут до центра. Анвин выразил согласие. Звучали осторожные шаги по каменному полу; галерея разделилась на две более узкие. Казалось, дом хочет поглотить их, так низко навис потолок. Им приходилось двигаться один за другим. Анвин шел впереди. Зацепляясь за углы и неровности, он все время касался рукой невидимой стены. Медленно продвигаясь в темноте, Анвин слышал из уст своего друга историю смерти Абенхакана.

— Быть может, самое раннее мое воспоминание, — говорил Данретен, — это появление Абенхакана у ворот Пентрита. Его сопровождал человек со львом; без сомнения, это был первый негр и первый лев, которых я видел, если не считать гравюр в Писании. И хотя я был ребенком, зверь цвета солнца и человек цвета ночи поразили меня меньше, чем Абенхакан. Он показался мне очень высоким; это был человек с оливковой кожей, полузакрытыми черными глазами, наглым носом, мясистыми губами, крашенной шафраном бородой, мощной грудью, суверенной и бесшумной походкой. Дома я сказал: «Царь приплыл на корабле». Позже, когда каменщики возводили дом, я усложнил этот титул и называл его Царем Вавилонским.

Известие, что чужеземец собирается поселиться в Пентрите, было принято благосклонно. Размеры и форма его дома — с замешательством и чуть ли не со скандалом. Казалось немыслимым, чтобы дом состоял из одной-единственной комнаты и коридоров, тянувшихся мили и мили «Такие дома бывают у магометан, но не у христиан», — говорил народ.

Наш ректор, мистер Олби, человек незаурядно начитанный, извлек на свет историю царя, который был наказан провидением за то, что воздвиг лабиринт, и поведал ее с кафедры В понедельник Абенхакан посетил жилище ректора, обстоятельства этого краткого визита в то время не были обнародованы, но ни одна последующая проповедь более не касалась гордыни, а мавр смог нанять каменщиков. Несколько лет спустя, когда Абенхакан погиб, Олби сообщил властям суть разговора.

Абенхакан, не садясь, сказал ему примерно следующее: «Никто не смеет осуждать то, что я делаю. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я столетиями повторял бы высочайшее имя Бога, это не смягчило бы моих

мук. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я своими руками убил бы себя, это не усилило бы мук, уготованных мне бесконечной Справедливостью. Мое имя известно повсюду: я Абенхакан эль Бохари, и я властвовал над племенами пустыни. Многие годы я обирал их с помощью моего племянника Сайда, но Бог услышал их молитвы и допустил, чтобы они восстали. Мои люди были перебиты, мне же удалось бежать с сокровищами, накопленными за эти годы. Сайд вывел меня к гробнице святого у подножия скалы. Я приказал своему рабу следить за ликом пустыни; Сайд и я в изнеможении заснули. Ночью мне приснилось, будто меня опутали сетью из змей. В ужасе я проснулся, рядом спал Сайд, светало; прикосновение паутины к моему телу было причиной страшного сна. Сокровище не бесконечно, подумал я, а он может потребовать свою часть. За поясом у меня был кинжал с серебряной рукоятью, я вытащил его и вонзил Сайду в горло. В агонии он пробормотал несколько слов, которые я не сумел разобрать. Я посмотрел на него; он был мертв, но, боясь, что он поднимется, я приказал рабу разбить ему камнем голову. Потом мы скитались по пустыне и наконец различили вдалеке море. Его бороздили огромные корабли; и я подумал, что мертвому не пройти по воде, и решил искать другие земли. В первую же ночь нашего плавания мне приснилось, что я убиваю Сайда. Все повторилось снова, только мне удалось разобрать его слова. Он сказал: „Как сейчас ты убиваешь меня, так я убью тебя, где бы ты ни был“. Я поклялся, что угроза его не сбудется: я скроюсь в глубине лабиринта, чтобы призрак не нашел дороги».

Сказав это, он ушел. Олби решил было, что мавр лишился рассудка и что нелепый лабиринт — символ и явное свидетельство его безумия. Затем ему пришло в голову, что такое объяснение соответствует необычному зданию и необычному рассказу, но противоречит впечатлению силы, которое оставлял Абенхакан. Возможно, подобные истории характерны для египетских земель, возможно, подобные странности присущи (как Плиниевы драконы) не столько личности, сколько культуре... В Лондоне Олби просмотрел подшивку «Тайме» и удостоверился в истинности рассказа о восстании и последующем исчезновении эль Бохари и визиря, имевшего славу труса.

Абенхакан, едва каменщики окончили работу, обосновался в центре лабиринта. Больше его в селении не видели; порою Олби пугала мысль, что Сайд уже добрался до него и убил. По ночам ветер доносил до нас рычание льва, и овцы в загоне дрожали от древнего страха.

В маленькой бухте бросали якорь корабли, идущие из восточных портов в Кардифф или Бристоль. Раб спускался из лабиринта (который

тогда, помнится, был алого, а не розового цвета) и переговаривался на африканском наречии с командами кораблей и, казалось, искал среди живых призраков визиря. Ходили слухи, что эти корабли привозят контрабандой алкоголь и слоновую кость, — так почему бы не возить им также и тени умерших?

Спустя три года со времени сооружения дома стала на якорь у подножия холмов «Роза Сарона». Я не был в числе тех, кто видел парусник, и, возможно, образ его навеян полузабытыми литографиями сражений при Абукире или Трафальгаре, но сдаётся мне, это был один из тех кораблей, которые кажутся скорее делом рук столяра, чем корабеля, и даже скорее краснодеревщика, чем столяра. Он был (если не в действительности, то в моем воображении) полированный, темный, бесшумный и быстрый, команда состояла из арабов и малайцев.

Корабль бросил якорь на рассвете в один из октябрьских дней. Вечерело, когда в дом Олби ворвался Абенхакан. Охваченный ужасом, он едва сумел выговорить, что Сайд уже проник в лабиринт и что раб и лев погибли. Он всерьез спросил, сумеют ли власти защитить его. Но прежде чем Олби ответил, ушел, гонимый тем же страхом, что привел его в этот дом — во второй и последний раз. Олби, один в своей библиотеке, в изумлении подумал, что этот испуганный человек жестоко притеснял в Судане подвластные ему племена и знает, что такое битва и что значит убивать. На следующий день он заметил, что один из парусников отплыл (курсом на Суакин в Красном море, как он выяснил после). Олби счел своим долгом удостовериться в смерти раба и направился к лабиринту. Прерывающийся рассказ Бохари показался ему фантастическим, но за одним из поворотов галереи он наткнулся на льва, и лев был мертв, а за другим — на раба, который был мертв, а в центральном помещении — на эль Бохари, голова которого была разбита. У ног его валялась шкатулка, инкрустированная перламутром, кто-то сломал замок и не оставил ни монеты.

Заключительные фразы, украшенные риторическими паузами, явно претендовали на красноречие. Анвин догадался, что Данревен уже не в первый раз произносил их с тем же пафосом и так же не достигал успеха. Он спросил, притворяясь заинтересованным:

— Как были убиты лев и раб?

Не меняя манеры, Данревен ответил с мрачным удовлетворением:

— У них тоже были разбиты головы.

К звуку шагов примешался шум дождя. Анвин подумал, что им придется ночевать в лабиринте, в «центральной комнате» повествования

Данревена, но в воспоминаниях это длительное неудобство превратится в приключение. Он не произнес ни слова; Данревен не удержался и задал вопрос, словно требовал вернуть долг:

— Разве эта история объяснима?

Как бы размышляя вслух, Анвин ответил:

— Не знаю, объяснима она или нет. Знаю, что это ложь.

Данревен, чертыхнувшись, сослался на старшего сына ректора (Олби, кажется, уже умер) и всех жителей Пентрита. Не менее пораженный, чем Данревен, Анвин извинился.

Время в темноте тянулось необычайно долго; оба уже садились, что сбились с пути, и были совершенно без сил когда слабый свет, идущий сверху, позволил им различить нижние ступеньки узенькой лестницы. Они поднялись и оказались в обветшалой круглой комнате. Как память о страхе злополучного царя сохранились две вещи: широкое окно, вознесшееся над морем и окрестной равниной, и западня в полу, которая виднелась за поворотом лестницы. Помещение, хотя и просторное, весьма напоминало тюремную камеру.

Не столько из-за дождя, сколько для того, чтобы было о чем вспомнить и рассказать, друзья провели ночь в лабиринте. Математик спал спокойно; поэта же преследовали строчки, которые ему самому казались отвратительными:

Faceless the sultry and overpowering lion,
Faceless the stricken slave, faceless the king^[96].

Анвин полагал, что история смерти эль Бохари не заинтересовала его, но проснулся с ощущением, что разгадал загадку. Весь день он был сосредоточен и неразговорчив, на разные лады примеряя одно событие к другому, а два дня спустя сговорился встретиться с Данревенем в одной из лондонских пивных и сказал ему примерно следующее:

— В Корнуолле я сказал, что услышанная от тебя история — ложь. События были или могли быть подлинными, но изложенные так, как излагал их ты, становились явной ложью. Начну с самой большой лжи, с немыслимого лабиринта. Беглец не прячется в лабиринте. Не сооружает лабиринт на высоком берегу, алый лабиринт, издали заметный морякам. Его не стоит воздвигать, потому что вселенная — лабиринт уже существующий.

Для того, кто в самом деле хочет укрыться, Лондон более надежен, чем

эта вышка, к которой ведут все галереи здания. Глубокая мысль, которую я сейчас изложил тебе, посетила меня позавчера, когда мы слушали, как шумит дождь по крыше лабиринта, и дожидались, пока заснем; осененный и вдохновленный ею, я решил забыть твои нелепости и подумать о чем-нибудь осмысленном.

— О теории множеств, например, или о четвертом измерении, — заметил Данревен.

— Нет, — серьезно ответил Анвин. — Я думал о критском лабиринте. Лабиринте, центром которого был человек с головой быка.

Данревен, знаток детективных романов, подумал, что разгадка тайны всегда ниже самой тайны. К тайне причастно сверхъестественное и даже божественное, разгадка же — фокус. Он сказал, чтобы протянуть неизбежное:

— С головой быка Минотавр изображается в скульптуре и на медалях. Данте представлял его себе с телом быка и головой человека.

— Этот вариант тоже подходит, — согласился Анвин. — Здесь важно соответствие чудовищного дома его чудовищному обитателю. Минотавр полностью оправдывал существование лабиринта. Нельзя сказать того же об опасности, привидевшейся во сне. Если вспомнить Минотавра (роковое воспоминание, когда находишься в лабиринте), задача, вероятно, будет решена. Однако сознаюсь, что этот античный образ не казался мне ключом к разгадке, поэтому было необходимо, чтоб в твоём рассказе появился символ более подходящий: паутина.

— Паутина? — переспросил сбитый с толку Данревен.

— Да. Больше всего меня поразило то, что паутина (паутина в ее универсальной форме, скажем платоновская паутина) внушила убийце (поскольку убийца существует) это преступление. Вспомни: эль Бохари в гробнице видит во сне сеть из змей и, проснувшись, обнаруживает, что причина сновидения — паутина. Вернемся к ночи, когда эль Бохари приснилась сеть. Свергнутый царь, визирь и раб, унося сокровища, спасаются бегством в пустыню. Они укрываются в гробнице. Спит визирь, о котором нам известно, что он трус; не спит царь, о котором мы знаем, что он отважен. Царь, не желая делить сокровища с визирем, убивает его ударом кинжала; тень последнего угрожает царю во сне несколько ночей спустя. Все это невероятно; я думаю, события разворачивались по-другому. В эту ночь спал царь, храбрец, и бодрствовал Саид, трус. Спать — значит расставаться с миром, а такое расставание трудно для того, кто знает, что его преследуют с обнаженными мечами. Завистника Сайда ввел в искушение царя. Он думал об убийстве, может быть, даже играл кинжалом,

но не осмелился. Он позвал раба, они укрыли часть сокровищ в гробнице и бежали в Суакин и в Англию. Вовсе не для того, чтобы скрыться от эль Бохари, а чтобы заманить и убить его, он построил над морем высокий лабиринт с красными стенами. Он знал, что корабли разнесут в гаванях Нубии слухи об алом человеке, рабе и льве и что рано или поздно эль Бохари придет разыскивать его в этом лабиринте. В последней галерее его ожидала западня. Эль Бохари бесконечно презирал Сайда и не унизился до того, чтобы принять хоть какие-то меры предосторожности. Долгожданный день настал; Абенхакан сошел на берег в Англии, подошел к дверям лабиринта и, возможно, уже шагнул на первую ступеньку лестницы, когда его визирь убил его, возможно, и одним выстрелом, из засады. Лев был убит рабом, а другим выстрелом был убит раб. Потом Сайд одним камнем разбил всем троим головы. Он вынужден был так поступить: один трус с разбитой головой наводит на мысль об идентификации; а зверь, негр и царь образуют ряд, имея начальные члены которого любой найдет последний. Ничего удивительного, что им владел страх при разговоре с Олби: он только что совершил чудовищное деяние и намеревался бежать из Англии, чтобы завладеть сокровищами.

Задумчивое или недоверчивое молчание наступило вслед за словами Анвина. Данревен заказал еще кружку пива, прежде чем высказаться.

— Я согласен, — сказал он, — мой Абенхакан был Саидом. Подобные метаморфозы — классические особенности жанра, условия, соблюдения которых требует читатель. Но я отказываюсь согласиться с предположением, что часть сокровищ осталась в Судане. Вспомни, ведь Сайд бежал от царя и от врагов царя; легче представить себе, что он украл все сокровища, нежели что он задержался, зарывая часть их. Возможно, монеты не были найдены, потому что их не оставалось; каменщики поглотили состояние, которое в отличие от красного золота Нибелунгов не было бесконечным. Тогда получается, что Абенхакан пересек море, чтобы вернуть себе растроченные сокровища.

— Не растроченные, — сказал Анвин. — А затраченные в земле неверных на огромную круглую ловушку из кирпича, устроенную для того, чтобы поймать его и уничтожить. Сайд, если мое предположение справедливо, действовал побуждаемый ненавистью и страхом, а не алчностью. Он украл сокровища, а затем понял, что сокровища не были для него главным. Главным было погубить Абенхакана. Он притворился Абенхаканом, убил Абенхакана и в конце концов стал Абенхаканом.

— Да, — согласился Данревен. — Он стал бродягой, который, прежде чем умереть, когда-нибудь припомнит, что был царем или делал вид, что

царь.

Два царя и два их лабиринта ^[97]

Верные люди рассказывают (а остальное знает Аллах) что в давние времена Вавилонской землей правил царь, который собрал однажды своих зодчих и повелел им воздвигнуть такой головокружительный и хитроумный лабиринт, что здравомыслящие мужи не решались ступить в него, а вошедшие — исчезали навсегда. Творение это было кощунством, поскольку запутывать и ошеломлять подобает лишь Богу, но не людям. По прошествии лет ко двору прибыл повелитель арабов, и владыка Вавилона, желая пошутить над простодушием гостя, пригласил его осмотреть лабиринт, где тот и блуждал в замешательстве и унижении до самого заката. Тогда он взмолился Творцу о помощи и нашел выход. С губ его не слетело ни слова упрека, он лишь поведал вавилонскому царю, что у него в Аравии есть лабиринт еще поразительней и он надеется, если поможет Бог, когда-нибудь познакомить с ним своего гостеприимного хозяина. Затем он вернулся в Аравию, кликнул полководцев и военачальников и напал на вавилонян столь удачно, что стер с лица земли их крепости, рассеял воинства и взял в плен самого царя. Его взвалили на быстрого верблюда и отправили в пустыню. Всадники скакали три дня, и на закате царь Аравии воскликнул: «О властитель времен, судеб и сроков! В Вавилоне ты замыслил погубить меня в медном лабиринте с несчетными лестницами, стенами и дверьми; ныне Всемогущий велит, чтобы я показал тебе свой лабиринт, где нет нужды ни взбираться по лестницам, ни взламывать двери, ни мерить шагами утомительные галереи, ни одолевать стены, преграждающие путь».

С этими словами он развязал пленника и оставил его посреди пустыни, где тот и скончался от голода и жажды. Слава Тому, кто не знает смерти!

Ожидание

Коляска привезла его к 4004-му номеру на Северо-Восточной улице. Не было еще и девяти утра; человек с удовольствием увидел пятнистые платаны и квадраты земли у подножия каждого, скромные домики с маленькими балконами, аптеку по соседству, выцветшие вывески скобяной лавки и художественной мастерской. Длинный и глухой забор больницы перегораживал дорогу, вдали блестело солнце на стеклах оранжереи. Человек подумал, что это окружение (пока случайное и лишнее смысла, как увиденное во сне) станет со временем, Бог даст, привычным, неизменным и нужным. В витрине аптеки виднелись фарфоровые буквы: Бреслауэр; евреи сменили итальянцев, перед этим вытеснивших креолов. Это было к лучшему, человек предпочитал не иметь дела с людьми своей крови.

Возница помог ему снять чемодан; женщина, не то усталая, не то расстроенная, наконец открыла дверь. Возница нагнулся с козел, возвращая монету, уругвайский медяк, завалившийся у него в кармане с этой ночи, проведенной в гостинице Мело. Человек вручил ему сорок сентаво и при этом подумал: «Надо вести себя так, чтобы обо мне все забыли. Сейчас я ошибся дважды: расплатился монетой другой страны и дал заметить, что эта ошибка имеет для меня значение».

Следуя за женщиной, он прошел ворота и первый двор. Комната, приготовленная для него, к счастью, выходила во второй двор. Кровать была из железа, причудливо изогнутого мастером в виде ветвей и виноградных листьев; стоял высокий сосновый шкаф, полированный стол, этажерка с книгами, два разных стула и умывальник с тазом, кувшином, мыльницей и бутылью непрозрачного стекла. Карта провинции Буэнос-Айрес и распятие украшали стены, на алых обоях повторялось изображение павлина с распущенным хвостом. Единственная дверь вела во двор. Чтобы поместить чемодан, надо было передвинуть стулья. Новому жильцу все пришлось по вкусу; когда женщина спросила его имя, он назвал Вильяри, не с тайным вызовом и не для того, чтобы преодолеть унижение, которого не ощущал, а потому, что это имя не давало ему покоя, потому, что выдумать другое он был не в силах. Его наверняка не соблазняло бытующее в литературе заблуждение, будто присвоить имя врага — большая хитрость.

Поначалу сеньор Вильяри не покидал дома, спустя несколько недель

он стал ненадолго выходить в сумерках. Как-то вечером он пошел в синематограф, находившийся за три квартала. Он всегда садился в последнем ряду, всегда поднимался чуть раньше конца сеанса. Смотрел трагические истории из жизни преступного мира, в которых, без сомнения, были ошибки и, без сомнения, были картины из его прошлого; Вильяри не замечал этого, мысль о соответствии искусства действительности была чужда ему. Он покорно полагал, что ему нравится изображаемое, и хотел лишь проникнуть в намерение, с которым все это показывали. В отличие от людей, читающих романы, он никогда не смотрел на себя как на объект искусства.

Он не получал ни писем, ни даже проспектов, но со смутной надеждой прочитывал одну из газетных рубрик. Вечером, придвинув стул к двери, он сосредоточенно потягивал мате, разглядывая вьюнок на стене высокого соседнего дома. Годы одиночества научили его, что в воспоминаниях дни кажутся похожими, но нет ни одного, даже в тюрьме или в больнице, который бы не приносил неожиданностей. В другом заключении он мог бы поддасться соблазну считать дни и часы, но это было бессрочным — если только однажды газета не принесет известия о смерти Алехандро Вильяри. А возможно, что Вильяри уже умер, и тогда теперешняя жизнь — сон. Эта возможность беспокоила его, потому что он не мог решить окончательно, было бы это облегчением или несчастьем; наконец он счел ее абсурдной и отверг. В давние дни отдаленные не столько ходом времени, сколько двумя или тремя непоправимыми поступками, он жаждал множества вещей со страстью, ничем не сдерживаемой; эта могучая воля когда-то движимая ненавистью к людям и любовью к некоей женщине, теперь не желала ничего — лишь длиться, не кончаясь. Вкуса мате, вкуса черного табака, растущей полосы тени, заполняющей двор, было достаточно.

В доме жила овчарка. Вильяри подружился с уже старым псом и вел с ним разговоры по-испански, по-итальянски, перемежая речь немногими деревенскими словами, которые сохранились в памяти с детства. Вильяри старался жить только настоящим, без воспоминаний или предчувствий; первые значили для него меньше, чем вторые. Он смутно ощущал, что прошлое — та материя, из которой создано время, поэтому-то оно тут же обращается в прошлое. Порой собственные мытарства казались ему счастьем; в такие моменты он бывал ненамного сложнее пса.

Однажды вечером его напугала и бросила в озноб вспышка боли в глубине рта. Это ужасное ощущение повторилось спустя несколько минут и еще раз на рассвете. На следующий день Вильяри послал за коляской, которая отвезла его к дантисту в Одиннадцатый квартал. Там ему

выдернули коренной зуб. Во время этой процедуры он вел себя не трусливее и не тише других.

В другой раз, возвращаясь вечером из синематографа, он почувствовал, что его толкнули. Сердито, с возмущением, с тайной радостью он повернулся к наглецу. Скверно выругался, а тот, удивленный, пробормотал извинение. Это был высокий молодой человек с темными волосами, его спутница походила на немку. Весь вечер Вильяри повторял себе, что эти люди незнакомы ему. Тем не менее прошло четыре или пять дней, прежде чем он появился на улице.

Среди книг на этажерке была «Божественная комедия» со старинным комментарием Андреоли. Скорее из чувства долга, чем из любопытства, Вильяри приступил к чтению этого великого произведения; до обеда он прочитывал песнь, а после, строго по порядку, примечания. Он не считал муки ада невероятными или чрезмерными, и ему не приходило в голову, что Данте поместил бы сто в последний круг, где зубы Уголино без конца гложут затылок Руджери.

Павлины на алых обоях могли бы вызвать навязчивые кошмары, но сеньору Вильяри никогда не снилась чудовищная беседка из сплетающихся живых птиц. На рассвете ему всегда снился сон. по сути один и тот же, но с меняющимися подробностями. Двое мужчин и Вильяри входили с револьверами в его комнату, или кидались на него, когда он выходил из синематографа, или иногда их бывало четверо — с незнакомцем. который его толкнул, они печально поджидали его во дворе и, казалось, не узнавали. В конце сна он вытаскивал револьвер из ящика полированного стола, стоящего рядом (он и в самом деле хранил револьвер в этом ящике), и стрелял в этих людей. Грохот выстрела будил его, но всегда оказывался сном, и в другом сне схватка повторялась, и в другом сне ему опять приходилось убивать их.

Однажды туманным июльским утром его разбудило присутствие посторонних (дверь не скрипнула, когда ее отворяли). Высокие в полутьме комнаты, странно уплощенные полумраком (в его кошмарах они виднелись отчетливее), настороженные, неподвижные и терпеливые, понурившись, будто под тяжестью оружия, Алехандро Вильяри и неизвестный в конце концов настигли его. Жестом он попросил их подождать и отвернулся к стене, как будто собираясь снова заснуть. Чтобы пробудить милосердие тех, кто готовился убить его? Или потому, что легче быть участником ужасного события, чем без конца воображать и дожидаться его? Или — и быть может, это самое вероятное — чтобы убийцы оказались сном, как уже случалось столько раз, на том же месте, в то же время?

Эту его мысль оборвали выстрелы.

Человек на пороге

Бьой Касарес привез из Лондона странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в виде буквы Н, наш друг Кристофер Дьюи из Британского Совета сказал, что такое оружие распространено в Индостане. Вслед за этим он упомянул, что работал в той стране в период между двумя войнами (Ultra Auroram et Gangem^[98] — помню, произнес он по-латыни, переиначив стих Ювенала). Из историй, что он рассказал в ту ночь, я решаюсь передать следующую. Мой рассказ будет правдивым: да сохранит меня Аллах от искушения прибавить что — либо или усилить заимствованиями из Киплинга экзотический облик повествования. Впрочем, аромат у этой истории, древней и простой, возможно, тот же, что и у «Тысячи и одной ночи», и было бы жаль его утратить.

Точная география событий, о которых я стану рассказывать, не имеет значения. Да и что могут значить в Буэнос-Айресе названия вроде Амритсара или Уда? Достаточно сказать, что в те годы в одном мусульманском городе были волнения, и правительство послало сильного человека, чтобы навести порядок. Это был шотландец из славного клана воинов, насилие было у него в крови. Я видел его всего один раз, но в памяти остались черные, как смоль, волосы, выступающие скулы, хищные нос и рот, широкие плечи, мощная осанка викинга. Давид Александр Гленкэрн — назовем его так этой ночью, — оба имени подходят, ибо это имена царей, правивших твердой рукою. Давид Александр (мне надо привыкнуть называть его так) был, думается, человеком, внушающим страх; одного известия о его прибытии хватило, чтобы успокоить город. Но это не помешало ему прибегнуть к энергичным мерам. Прошло несколько лет. Город и округ жили мирной жизнью: сикхи и мусульмане оставили старые распри, как вдруг Гленкэрн исчез. Естественно, поползли слух о том, что он был похищен или убит.

Я узнал об этом от своего шефа — цензура была суровой и газеты не комментировали (насколько мне помнится, даже не упоминали) исчезновения Гленкэрна. Пословица гласит, что Индия больше, чем мир; Гленкэрн, возможно, всемогущий в городе, куда он был направлен

подписью под приказом, был всего-навсего винтиком в механизме администрации империи. Расследование местной полиции оказалось безуспешным, мой шеф считал, что частное лицо возбудит меньше подозрений и сможет добиться лучших результатов. Три-четыре дня спустя (расстояния в Индии огромны) я без особых надежд бродил по улицам мрачного города, который поглотил человека. И почти сразу же ощутил некий молчаливый заговор, имеющий целью скрыть судьбу Гленкэрна. *Нет в этом городе (я мог поручиться) ни единого жителя, который не знал бы тайны и не поклялся хранить ее.* Большинство спрашиваемых обнаруживало полную неосведомленность; они не знали, кто такой Гленкэрн, никогда не видели его и никогда о нем не слыхали. Другие, напротив, видели его четверть часа назад разговаривающим с таким-то и даже брались проводить меня к дому, куда они вошли и где оказывалось, что либо о них ничего не знали, либо они только что этот дом покинули. Одного из этих отъявленных лжецов я ударил кулаком в лицо. Свидетели разделили мое возмущение и тут же измыслили новую ложь. Я не верил, но должен был их выслушивать. Как-то вечером мне подбросили конверт с узкой полоской бумаги, на которой был написан адрес...

Когда я добрался туда, солнце садилось. Квартал был многолюдный и бедный; дом очень низкий; с тротуара я различил ряд немощеных двориков и в глубине свет. В последнем дворе справляли какой-то мусульманский праздник; прошел слепой, держа лютню из красноватого дерева

У моих ног, на пороге, неподвижный, как вещь, сидел на корточках очень старый человек. Я опишу его внешность потому что это существенно для рассказа. Годы отшлифовали и отполировали его, как вода камень или поколения людей — пословицу. Его одежда состояла, как мне показалось, из длинных лохмотьев, а тюрбан на голове был еще одним лоскутом. В полумраке он повернул ко мне темное лицо с очень белой бородой. Я сказал ему без каких бы то ни было вступлений, потому что потерял уже всякую надежду, о Давиде Александре Гленкэрне. Он не понял (или не расслышал), и мне пришлось объяснять, что это судья и что я разыскиваю его. Говоря это, я чувствовал, как нелепо расспрашивать столь древнего старца, для которого настоящее — едва различимый шум. *Этот человек мог бы рассказать о Восстании или об Акбаре, подумал я, но не о Гленкэрне.* Его ответ подтвердил мои опасения.

— Судья? — сказал он с легким удивлением. — Судья, который пропал и которого ищут. Так случилось однажды, когда я был ребенком. Года я не помню, но еще не погиб Никол Сеин (Николсон) под стенами Дели. Время, которое уходит, остается в памяти; без сомнения, я могу вспомнить все, что

тогда произошло. Бог позволил, в гневе своем, чтобы люди впали в грех; уста их изрекали проклятия, ложь и обман. Конечно, порочны были не все, и, когда пришла весть, что королева собирается прислать человека, который бы отправлял в этой стране законы Англии, те, в ком было меньше зла, обрадовались, потому что считали, что закон лучше беспорядка. Прибыл христианин и тут же стал нарушать свой долг и притеснять людей, покрывать отвратительные злодеяния и преступать закон. Сначала мы не винили его; английское правосудие, которому он служил, не было никому известно, и то, что казалось притеснениями, возможно, имело важные и пока скрытые причины. В его книге всему есть оправдание, хотели мы думать, но его сходство с несправедливыми судьями мира было слишком явным, и в конце концов нам пришлось признать, что он просто злодей. Он стал тираном, а бедный народ (чтобы отомстить за обманутые надежды, которые возлагались на судью) стал лелеять мысль о том, чтобы похитить и покарать его. Одних разговоров мало, от намерений перешли к делу. Никто, кроме, может быть, самых юных или самых простодушных, не верил, что этот безрассудный замысел может быть осуществлен, но тысячи сикхов и мусульман сдержали слово и однажды совершили, не веря себе, то, что каждому из них казалось невозможным. Они похитили судью и заперли в одном из отдаленных пригородов. Затем переговорили с людьми, которым он нанес обиды, или (по крайней мере) с сиротами и вдовами, поскольку меч правосудия не знал в эти годы отдыха. Наконец — возможно, это было самым трудным — нашли и назначили судью, чтобы судить судью.

Тут его рассказ прервали женщины, входящие в дом.

Он не спеша продолжал:

— Считается, что в каждом поколении есть по крайней мере четыре праведника, на которых незримо держится мир и которые служат его оправданием перед ликом Господа: один из таких людей был бы самым подходящим судьей. Но где найти их, если они безымянные ходят по свету и мы не сумеем узнать их, когда встретим, а они и сами не догадываются о высокой цели, которой служат? Тогда кто-то решил, что, поскольку судьба отказывает нам в мудрецах, надо искать неразумных. Это мнение возобладало. Ученые, законники, сикхи, которых называют львами и которые чтят одного Бога, индуисты, которые поклоняются множеству богов, монахи Махавиры, которые учат, что вселенная имеет вид человека с расставленными ног ми, огнепоклонники и черные евреи вошли в состав суда, но вынести окончательный приговор было предоставлено сумасшедшему.

Здесь рассказ перебили несколько человек, возвращавшихся с

празднества.

— Сумасшедшему, — повторил он, — потому что мудрость Бога говорит его устами и смиряет человеческую гордыню. Его имя забылось или никогда не было известно, но он ходил по улице нагим или в лохмотьях, пересчитывая свои пальцы и дразня деревья.

Мой здравый смысл восстал. Я сказал, что поручить решение сумасшедшему значило сделать процесс недействительным.

— Обвиняемый признал его судьей, — был ответ — Возможно, он понимал, какой опасности подвергнутся заговорщики, отпустив его на свободу, и только сумасшедший мог не вынести ему смертный приговор. Я слышал, что он засмеялся узнав, кто его судья. Процесс тянулся много дней и ночей из-за огромного числа свидетелей.

Он замолчал, чем-то обеспокоенный. Чтобы что-то сказать, я спросил, сколько дней.

— По меньшей мере девятнадцать, — ответил он.

Люди, возвращавшиеся с празднества, снова прервали его; вино запрещено мусульманам, но лица и голоса казались пьяными. Минуя нас, один из них что-то крикнул.

— Девятнадцать дней, точно, — повторил старик. — Неверный пес выслушал приговор, и нож вонзился в его горло. — Он проговорил это со свирепой веселостью. И прежним тоном досказал конец истории: — Он умер без страха; и в самых низких людях бывает достоинство.

— Где произошло то, о чем ты рассказываешь? — спросил я. — В отдаленном пригороде?

В первый раз он посмотрел мне в глаза. Потом неспешно ответил, взвешивая каждое слово:

— Я говорил, что его держали в заключении в отдаленном пригороде, но не судили. А судили в этом городе: в таком же доме, как другие, как вот этот. Дома ничем не отличаются друг от друга: важно лишь знать, где построен дом, в аду или на небе.

Я спросил его о судьбах заговорщиков.

— Не знаю, — терпеливо отвечал он. — Это произошло и уже забылось столько лет назад. Возможно, люди осудили их, но не Бог.

Сказав так, он поднялся. Я понял, что это были прощальные слова и что с этой минуты я перестал существовать для него. Бормоча и распевая, толпа мужчин и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и чуть не увлекла за собою: мне показалось удивительным, что из таких тесных, ненамного просторнее подъезда дворики может появиться столько народу. Из соседних домов выходили еще люди, наверняка они

перелезли через изгородь. Раздавая толчки и ругаясь, я проложил себе дорогу. И в последнем дворе наткнулся на обнаженного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю, которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, потому что ею был убит Гленкэрн, чей изуродованный труп я обнаружил в конюшне в глубине двора.

Алеф

Эстеле Канто

O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a King of infinite space^[99]

Гамлет, II, 2

But they will teach us that Eternity is the Standing still of the Present Time, a Nunc-stans {as the Schools call it}; which neither they, nor any else understand, no more than they would a Hic-stans for an Infinite greatnesse of Place...^[100]

Левиафан IV, 46

В то знойное февральское утро, когда умерла Беатрис Витербо после величавой агонии, ни на миг не унизившейся до сентиментальности или страха, я заметил, что на металлических рекламных щитах на площади Конституции появилась новая реклама легких сигарет; мне стало грустно, я понял, что неугомный, обширный мир уже отделился от нее и что эта перемена лишь первая в бесконечном ряду. Мир будет изменяться, но я не изменюсь, подумают я с меланхолическим тщеславием; я знаю, что моя тщетная преданность порой ее раздражала; теперь, когда она мертва, я могу посвятить себя ее памяти без надежды, но и без унижения. Я вспомнил, что тридцатого апреля день ее рождения; посетить в этот день дом на улице Гарая, чтобы приветствовать ее отца и Карлоса Архентино Данери, ее кузена, будет вежливо, благовоспитанно и, пожалуй, необходимо. Опять я буду ждать в полутьме маленькой заставленной гостиной, опять буду изучать подробности многочисленных ее фотографий. Беатрис Витербо в профиль, цветное фото, Беатрис в маске, на карнавале в 1921 году, Беатрис в день первого причастия, Беатрис в день ее свадьбы с Роберто Александри; Беатрис вскоре после развода, на завтраке в конном клубе; Беатрис в Кильмесе с Делией Сан-Марко Порсель и Карлосом Архентино; Беатрис с пекинесом, подаренным ей Вильегасом Аэдо; Беатрис анфас и в три четверти, улыбающаяся, подпирающая рукою подбородок... Мне уже не придется, как в прежние времена, в оправдание своего присутствия

преподносить недорогие книги — книги, страницы которых я в конце концов догадался заранее разрезать, чтобы много месяцев спустя не убеждаться, что никто их не касался.

Беатрис Витербо умерла в 1929 году, и с тех пор я ни разу не пропускал тридцатое апреля, неизменно навещая ее родных. Приходил обычно в четверть восьмого и сидел минут двадцать пять; с каждым годом я являлся чуть позже и засиживался подольше; в 1933 году мне помог ливень — меня пригласили к столу. Я, естественно, не пренебрег этим прецедентом — в 1934 году явился уже после восьми с тортом из Санта-Фе и, само собой, остался ужинать. Так, в эти наполненные меланхолией и тщетным любовным томлением дни годовщин я постепенно выслушивал все более доверительные признания Карлоса Архентино Данери.

Беатрис была высокого роста, хрупкая, чуть-чуть сутулящаяся: в ее походке (если тут уместен оксиморон) была какая-то грациозная неуклюжесть, источник очарования. Карлос Архентино — румяный, тучный, сидящий господин с тонкими чертами лица. Он занимает маленькую должность в захудалой библиотеке на южной окраине города; характер у него властный, но в то же время не деятельный — до самого недавнего времени он вечерами и в праздники был рад не выходить из дому. Пройдя через два поколения, у него сохранились итальянское «с» и чрезмерная итальянская жестикуляция. Ум его находится в постоянном возбуждении, страстном, подвижном и совершенно бестолковом. Вас засыпают никчемными аналогиями и праздными сомнениями. У него (как у Беатрис) красивые, крупные руки с тонкими пальцами. Несколько месяцев он был одержим поэзией Поля Фора — не столько из-за его баллад, сколько из-за идеи о незапятнанной славе. «Он — король французских поэтов, — напыщенно повторял Карлос Архентино. — И не думай его критиковать, самая ядовитая из твоих стрел его даже не заденет».

Тридцатого апреля 1941 года я позволил себе прибавить к тарту бутылку отечественного коньяку. Карлос Архентино отведал его, нашел недурным и после нескольких рюмок повел речь в защиту современного человека.

— Я так и вижу его, — говорил он с не вполне понятной горячностью, — в его кабинете в этой, я сказал бы, сторожевой башне города, в окружении телефонов, телеграфных аппаратов, фонографов, радиотелефонов, киноаппаратов, проектов, словарей, расписаний, проспектов, бюллетеней...

И он заявил, что человеку, всем этим оснащенному, незачем путешествовать, — наш XX век, дескать, перевернул притчу о Магомете и

горе, ныне все горы сами сходятся к современному Магомету.

Мне его мысли показались настолько нелепыми, а изложение настолько высокопарным, что я тотчас подумал о писательстве и спросил, почему он все это не напишет. Как и можно было ожидать, он ответил, что уже пишет: эти мысли и другие, не менее оригинальные, изложены в «Начальной Песне», «Вступительной Песне» или попросту «Песне-Прологе» поэмы, над которой он работает много лет, без, знаете ли, рекламы, без оглушительного треска, неизменно опираясь на два посоха, имя коим труд и уединение. Вначале он широко открывает двери воображению, затем шлифует. Поэма называется «Земля», и это, ни много ни мало, описание нашей планеты, в котором, разумеется, нет недостатка и в ярких отступлениях, и в смелых инвективах.

Я попросил его прочитать мне отрывок из поэмы, пусть небольшой. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул объемистую стопку листов со штампом «Библиотека Хуана Крисостомо Лафинура» и самодовольным звучным голосом прочел: Подобно греку, я народы зрел и страны, Труды и дни прошел, изведаль грязь и амбру; Не приукрасив дел, не подменив имен, Пишу я свой вояж, но... *autour de ta chanibre*^[101].

— Эта строфа интересна во многих смыслах, — изрек он. — Первый стих должен снискать одобрение профессора, академика, эллиниста — пусть и не скороспелых эрудитов, составляющих, правда, изрядную часть общества; второй — это переход от Гомера к Гесиоду (на фронтоне воздвигаемого здания воздается между строк дань отцу дидактической поэзии), не без попытки обновить прием, ведущий свою генеалогию от Писания — сиречь перечисление, накопление или нагромождение; третий стих — идет он от барокко, декаданса или от чистого и беззаветного культа формы — состоит из двух полустипий-близнецов; четвертый, откровенно двуязычный, обеспечит мне безусловную поддержку всех, кто чувствует непринужденную игру шуточного слога. Уж не буду говорить о рифмах и о кругозоре, который позволил мне — причем без педантизма! — собрать в четырех стихах три ученые аллюзии, охватывающие тридцать веков, насыщенных литературой: первая аллюзия на «Одиссею», вторая на «Труды и дни», третья на бессмертную безделку, которою мы обязаны досугам славного савояра... И кому же, как не мне, знать, что современное искусство нуждается в бальзаме смеха, в *scherzo*^[102]. Решительно, тут слово имеет Гольдони!

Он прочел мне многие другие строфы, также получившие его одобрение и снабженные пространными комментариями. Ничего

примечательного в них не было, они даже показались мне не намного хуже первой. В его писаниях сочетались прилежание, нетребовательность и случай; достоинства же, которые Данери в них находил, были вторичным продуктом. Я понял, что труд поэта часто обращен не на самую поэзию, но на изобретение доказательств, что его поэзия превосходна; естественно, эта последующая работа представляла творение иным в его глазах, но не в глазах других. Устная речь Данери была экстравагантной, но его беспомощность в стихосложении помешала ему, кроме считанных случаев, внести эту экстравагантность в поэму.^[103]

Только раз в жизни мне довелось видеть пятнадцать тысяч одиннадцатисложных стихов «Полиольбиона», топографической эпопеи, в которой Майкл Дрейтон представил фауну, флору, гидрографию, орографию, военную и монастырскую историю Англии; я убежден, что это творение, грандиозное, но все же имеющее границы, менее скучно, чем беспредельный родственный замысел Карлоса Архентино. Этот собирался объять стихами весь шар земной: в 1941 году он уже управился с несколькими гектарами штата Квинсленд, более чем с километром течения Оби, с газгольдером севернее Веракруса, с главными торговыми домами в приходе Консепсьон, с загородным домом Марианы Камбасерес де Альвеар на улице Одиннадцатого Сентября в Бельграно, с турецкими банями вблизи одного пляжа в Брайтоне. Он прочитал мне несколько трудоемких пассажей из австралийской зоны поэмы — в этих длинных, бесформенных александрийских стихах не было даже относительной живости вступления. Привожу одну строфу: «Так знайте: от столба рутинного правей (Он кажет путь тебе, коль путник ты не местный) Скучает там костяк. — А цвет? — Бело-небесный. — И вот загон овец — что твой погост, ей-ей!»

— Тут две смелые черточки, — вскричал он с ликованием, — я слышу, ты уже ворчишь, но, поверь, их оправдает неминуемый успех. Одна — это эпитет «рутинный», который метко изобличает *en passant*^[104] неизбежную скуку, присущую пастушеским и земледельческим трудам, скуку, которую ни «Георгики», ни наш увенчанный лаврами «Дон Сегундо» никогда не посмели изобличить вот так, черным по белому. Вторая — это энергичный прозаизм «костяк» — от него с ужасом отшатнется привередник, но его найдет выше всяких похвал критик со вкусом мужественным. Да и в остальном эта строфа чрезвычайно полновесна. Во второй ее половине завязывается интереснейший разговор с читателем: мы идем навстречу его живому любопытству, в его уста вкладывается вопрос, и ответ дается тут же, мгновенно. А что ты скажешь про эту находку, про «бело-небесный»?

Этот живописный неологизм вызывает образ неба, то есть важнейшего элемента австралийского пейзажа. Без него краски эскиза были бы слишком мрачны и читатель невольно захлопнул бы книгу, уязвленный до глубины души неизлечимой черной меланхолией. Я распрощался с ним около полуночи. Через два воскресенья Данери позвонил мне по телефону — впервые в жизни. Он предложил встретиться в четыре, «попить вместе молочка в соседнем салоне-баре, который прогрессивные дельцы Дзунино и Дзунгри — владельцы моего дома, как ты помнишь, — открывают на углу. Эту кондитерскую тебе будет полезно узнать». Я согласился, больше по неспособности противиться, чем из энтузиазма. Найти столик оказалось нелегко: безупречно современный «салон-бар» был почти так же неуютен, как я предвидел; посетители за соседними столиками возбужденно называли суммы, затраченные на него господами Дзунино и Дзунгри. Карлос Архентино сделал вид, будто поражен какими-то красотами освещения (которые он, конечно, уже видел раньше), и сказал мне с долей суровости:

— Хочешь не хочешь, тебе придется признать, что это заведение может соперничать с самыми шикарными барами Флореса.

Затем он во второй раз прочитал мне четыре-пять страниц из поэмы. В них были сделаны исправления по ложному принципу украшения: где раньше стояло «голубой», теперь красовались «голубоватый», «лазоревый», «лазурный». Слово «молочный» было для него недостаточно звучным — в необузданном описании процесса мойки шерсти он предпочел «млечный», «молочайный», «лактальный»... С горечью выбрал критиков, затем, смягчившись, сравнил их с людьми, «которые не обладают ни драгоценными металлами, ни паровыми прессами, ни прокатными станками, ни серной кислотой для чеканки, но могут указать другим местонахождение какого-либо сокровища». Далее он осудил «прологоманию, которую уже высмеял в остроумном предисловии к „Дон Кихоту“ Князь Талантов». Тем не менее он полагал, что его новое творение должно начинаться с яркого предисловия, такого посвящения в рыцари, подписанного обладателем бойкого, острого пера. Он прибавил, что собирается опубликовать начальные песни своей поэмы. Тут-то я догадался о смысле странного приглашения по телефону: он хочет просить меня, чтобы я написал предисловие к его педантской дребедени! Страх мой оказался напрасным; Карлос Архентино с завистливым восхищением заявил: он-де полагает, что не ошибется, назвав солидным авторитет, завоеванный во всех кругах литератором Альваро Мельяном Лафинуром, который, если я похлопочу, мог бы снабдить поэму увлекательным

предисловием. Дабы избежать совершенно непростительной в этом деле неудачи, я должен сослаться на два бесспорных достоинства: совершенство формы и научную точность, «ибо в этом обширном цветнике тропов, фигур и всяческих красот нет ни одной детали, не выверенной тщательнейшим изучением». Он прибавил, что Альваро был постоянным спутником Беатрис во всяких увеселениях.

Я поспешно и многословно согласился. Для пущего правдоподобия сказал, что буду говорить с Альваро не в понедельник, а в четверг на скромном ужине, которым обычно завершаются собрания Клуба писателей. (Ужинов таких не бывает, но то, что собрания происходят по четвергам, этот неоспоримый факт мог быть Карлосом Археитино Данери проверен по газетам и придавал моим речам правдоподобие.) С видом глубокомысленным и понимающим я сказал, что, прежде чем заговорить о предисловии, я намерен изложить оригинальный план поэмы. Мы простились: сворачивая на улицу Бернарде де Иригойена, я со всей ясностью представил себе две оставшиеся у меня возможности: а) поговорить с Альваро и сказать ему, что известный ему кузен Беатрис (при этом описательном обороте я смогу произнести ее имя) соорудил поэму, которая, кажется, расширила до беспредельного возможности какофонии и хаоса; б) не говорить с Альваро. И я совершенно четко предвидел, что мой бездеятельный характер изберет б).

В пятницу с часу дня меня начал беспокоить телефон. Я возмущался, что этот аппарат, из которого когда-то звучал навек умолкший голос Беатрис, может унизиться, став рупором тщетных и, вероятно, гневных упреков обманутого Карлоса Архентино Данери. К счастью, ничего не произошло — у меня только возникла неизбежная неприязнь к этому человеку, навязавшему мне деликатное поручение, а затем меня забывшему.

Телефон перестал меня терроризировать, но в конце октября Карлос Архентино вдруг опять позвонил. Он был в крайнем волнении, сперва я даже не узнал его голоса. Со скорбью и гневом, запинаясь, он сообщил, что эти распоясавшиеся Дзунино и Дзунгри под предлогом расширения своей уродливой кондитерской собираются снести его дом.

— Дом моих предков, мой дом, почтенный дом, состарившийся на улице Гарая! — повторял он, отвлекаясь, видимо, от горя музыкой слов. Мне было нетрудно понять и разделить его скорбь. После сорока любая перемена — символ удручающего бега времени; кроме того, речь шла о доме, который был для меня связан бесчисленными нитями с Беатрис. Я хотел было изложить это тонкое обстоятельство, но мой собеседник меня

не слушал. Он сказал, что, если Дзунино и Дзунгри будут настаивать на своей абсурдной затее, его адвокат, доктор Дзунни, потребует с них *ipso facto*^[105] за потери и убытки и заставит выплатить сто тысяч песо.

Имя Дзунни произвело на меня впечатление — солидная репутация его контор в Касересе и Бакуари вошла в поговорку. Я спросил, взялся ли Дзунни вести дело. Данери сказал, что будет с ним об этом говорить нынче вечером. Он немного замялся, потом голосом ровным, бесцветным, каким мы обычно сообщаем что-то глубоко интимное, сказал, что для окончания поэмы ему необходим этот дом, так как в одном из углов подвала находится Алеф. Он объяснил, что Алеф — одна из точек пространства, в которой собраны все прочие точки.

— Он находился в подвале под столовой, — продолжал Карлос Архентино, став от горя красноречивым. — Он мой, он мой, я открыл его в детстве, еще до того, как пошел в школу. Лестница в подвал крутая, дядя и тетя запрещали мне спускаться, но кто-то сказал, что в подвале находится целый мир. Как я узнал впоследствии, речь шла о сундуке, но тогда я понял буквально, что там есть целый мир. Тайком я спустился, скатился по запретной лестнице, упал. А когда открыл глаза, то увидел Алеф.

— Алеф? — переспросил я.

— Да. Алеф. Место, в котором, не смешиваясь, находятся все места земного шара, и видишь их там со всех сторон. Я никому не рассказал о своем открытии, но пошел в подвал еще и еще. Ребенок, конечно, не понимал, что эта привилегия ему дарована, чтобы, став мужчиной, он создал поэму! Нет, Дзунино и Дзунгри меня не ограбят, тысячу раз нет! Со сводом законов в руках доктор Дзунни докажет, что мой Алеф «неотчуждаем».

Я попытался воззвать к здравому смыслу:

— Но может быть, в подвале слишком темно?

— Да, нелегко истине проникнуть в сопротивляющийся ум. Но ведь если в Алефе находятся все места земли, стало быть, там же находятся и все фонари, лампы, все источники света.

— Сейчас же приду посмотреть на него. Я положил трубку, не дав ему времени возразить. Порой достаточно узнать один факт, и мгновенно видишь ряд подтверждающих обстоятельств, о которых прежде и не подозревал; я удивился, как это я до сих пор не понимал, что Карлос Архентино сумасшедший. Впрочем, все Витербо... Беатрис (я сам это часто повторяю) была женщиной — а прежде девушкой — прямо-таки беспощадно здравомыслящей, однако на нее находили приступы забывчивости, отчужденности, презрения, даже настоящей жестокости,

которые, вероятно, объяснялись какой-то патологией. Безумие Карлоса Архентино наполнило меня злобным удовлетворением — в глубине души мы всегда друг друга ненавидели.

На улице Гарая прислуга попросила меня немного подождать. Барин, как обычно, сидит в подвале, проявляет снимки. Рядом с вазой без цветов на ненужном теперь пианино улыбался (скорее вневременной, чем анахронический) большой портрет Беатрис в неприятно-резких тонах. Нас никто не видел; в порыве нежности я подошел к портрету и сказал:

— Беатрис, Беатрис Элена, Беатрис Элена Витербо, любимая моя Беатрис, навсегда утраченная Беатрис, это я, Борхес.

Вскоре появился Карлос. Говорил со мною сухо, и я понял, что он не способен думать ни о чем ином, кроме того, что теряет Алеф.

— Рюмочку этого псевдоконьяка, — распорядился он, — и можешь нырять в подвал. Помни, надо обязательно находиться в горизонтальном положении, лежать на спине. Также необходимы темнота, неподвижность, время на аккомодацию глаз. Ты ляжешь на каменный пол и будешь смотреть на девятнадцатую ступеньку лестницы. Я поднимусь, закрою крышку, и ты останешься один. Тебя, может быть, испугает какой-нибудь грызун — дело обычное! Через несколько минут ты увидишь Алеф. Микрокосм алхимиков и каббалистов, наш пресловутый давний друг, *multum in parvo*^[106]. — И уже в столовой он прибавил: — Разумеется, если ты его не увидишь, твоя неспособность отнюдь не будет опровержением моих данных... Спускайся, очень скоро ты сумеешь побеседовать с Беатрис во всех ее обликах.

Я поспешно сошел по лестнице, меня уже тошнило от его болтовни. Подвал, размером чуть пошире лестницы, больше напоминал колодец. Я напрасно искал глазами сундук, о котором говорил Карлос Архентино. Один из углов загромождали ящики с бутылками и парусиновые мешки. Карлос взял мешок, свернул его и положил на пол, видимо, в определенном месте.

— Подушка незавидная, — пояснил он, — но, если я сделаю ее выше хоть на один сантиметр, ты ни черта не увидишь, только расстроиться и сконфузиться. Ну давай ложись, хорошенько расслабься и отсчитай девятнадцать ступенек.

Я выполнил его странные требования, он наконец ушел и осторожно опустил крышку — темнота, несмотря на узенькую щель, которую я потом заметил, показалась мне абсолютной. Внезапно мне стала ясна вся опасность моего положения — я разрешил запереть себя в подвале сумасшедшему, после того как выпил яд. В бравадах Карлоса сквозил

тайный страх, что я могу не увидеть чуда; чтобы оправдать свой бред, чтобы не услышать, что он сумасшедший, Карлос должен меня убить. Я почувствовал некоторую дурноту и постарался объяснить ее своей неподвижностью, а не действием наркотика. Я закрыл глаза, потом открыл их. И тут я увидел Алеф.

Теперь я подхожу к непересказуемому моменту моего повествования и признаюсь в своем писательском бессилии. Всякий язык представляет собою алфавит символов, употребление которых предполагает некое общее с собеседником прошлое. Но как описать другим Алеф, чья беспредельность непостижима и для моего робкого разума? Мистики в подобных случаях пользуются эмблемами: перс, чтобы обозначить божество, говорит о птице, которая каким-то образом есть все птицы сразу; Аланус де Инсулис — о сфере, центр которой находится всюду, а окружность нигде; Иезекииль — об ангеле с четырьмя лицами, который одновременно обращается к Востоку и Западу, к Северу и Югу. (Я не зря привожу эти малопонятные аналогии, они имеют некоторое отношение к Алефу.) Быть может, боги не откажут мне в милости, и я когда-нибудь найду равноценный образ, но до тех пор в моем сообщении неизбежен налет литературщины, фальши. Кроме того, неразрешима главная проблема: перечисление, пусть неполное, бесконечного множества. В грандиозный этот миг я увидел миллионы явлений — радующих глаз и ужасающих, — ни одно из них не удивило меня так, как тот факт, что все они происходили в одном месте, не накладываясь одно на другое и не будучи прозрачными. То, что видели мои глаза, совершалось одновременно, но в моем описании предстанет в последовательности — таков закон языка. Кое-что я все же назову.

На нижней поверхности ступеньки, с правой стороны, я увидел маленький, радужно отсвечивающий шарик ослепительной яркости. Сперва мне показалось, будто он вращается, потом я понял, что иллюзия движения вызвана заключенными в нем поразительными, умопомрачительными сценами. В диаметре Алеф имел два-три сантиметра, но было в нем все пространство вселенной, причем ничуть не уменьшенное. Каждый предмет (например, стеклянное зеркало) был бесконечным множеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек вселенной. Я видел густо населенное море, видел рассвет и закат, видел толпы жителей Америки, видел серебристую паутину внутри черной пирамиды, видел разрушенный лабиринт (это был Лондон), видел бесконечное число глаз рядом с собою, которые вглядывались в меня, как в зеркало, видел все зеркала нашей планеты, и ни одно из них не отражало

меня, видел в заднем дворе на улице Солера те же каменные плиты, какие видел тридцать лет назад в прихожей одного дома на улице Фрая Бентона, видел лозы, снег, табак, рудные жилы, испарения воды, видел выпуклые экваториальные пустыни и каждую их песчинку, видел в Инвернесе женщину, которую никогда не забуду, видел ее пышные волосы, гордое тело, видел рак на груди, видел круг сухой земли на тротуаре, где прежде было дерево, видел загородный дом в Адрогге, экземпляр первого английского перевода Плиния, сделанного Файлмоном Голландом, видел одновременно каждую букву на каждой странице (мальчиком я удивлялся, почему буквы в книге, когда ее закрывают, не смешиваются ночью и не теряются), видел ночь и тут же день, видел закат в Керегаро, в котором словно бы отражался цвет одной бенгальской розы, видел мою пустую спальню, видел в одном научном кабинете в Алкмаре глобус между двумя зеркалами, бесконечно его отражавшими, видел лошадей с развевающимися гривами на берегу Каспийского моря на заре, видел изящный костяк ладони, видел уцелевших после битвы, посылавших открытки, видел в витрине Мирсапура испанскую колоду карт, видел косые тени папоротников в зимнем саду, видел тигров, тромбы, бизонов, морские бури и армии, видел всех муравьев, сколько их есть на земле, видел персидскую астролябию, видел в ящике письменного стола (от почерка меня бросило в дрожь) непристойные, немислимые, убийственно точные письма Беатрис, адресованные Карлосу Архентино, видел священный памятник в Чакарите, видел жуткие останки того, что было упоительной Беатрис Витербо, видел циркуляцию моей темной крови, видел слияние в любви и изменения, причиняемые смертью, видел Алеф, видел со всех точек в Алефе земной шар, и в земном шаре опять Алеф, и в Алефе земной шар, видел свое лицо и свои внутренности, видел твое лицо; потом у меня закружилась голова, и я заплакал, потому что глаза мои увидели это таинственное, предполагаемое нечто, чьим именем завладели люди, хотя ни один человек его не видел: непостижимую вселенную.

Я почувствовал бесконечное преклонение, бесконечную жалость.

— Да ты совсем обалдеешь, если будешь так долго совать свой нос куда не просят, — сказал ненавистный жизнерадостный голос. — Сколько ни ломай голову, тебе вовек не отплатить мне за такое чудо. Потрясающая обсерватория, ты согласен, Борхес?

Ботинки Карлоса Архентино стояли на самой верхней ступеньке. Внезапно стало чуть светлее, и я с трудом поднялся и пробормотал:

— Да-да, потрясающая, потрясающая.

Безразличное звучание моего голоса удивило меня.

Карлос Архентино с тревогой допытывался:

— Ты хорошо все видел? В цвете?

В единый миг я составил план мести. Добродушно, с неприкрытой жалостью, как бы нервничая и уклоняясь, я поблагодарил Карлоса Архентино за приют в его подвале и настойчиво посоветовал воспользоваться сносом дома, чтобы покинуть вредный воздух столицы, который никого — поверьте, никого! — не щадит. Мягко, но непреклонно я отказался говорить об Алефе, обнял Кярлоса Архентино на прощанье и повторил, что сельская жизнь и покой — это два замечательных врача.

На улице, на лестнице Конституции, в метро все лица казались мне знакомыми. Я испугался, что ни одно меня больше не удивит, испугался, что меня никогда не оставит чувство, что все это я уже видел. К счастью, после нескольких ночей бессонницы забвение снова меня одолело.

Постскрипtum первого марта 1943 года.

Через полгода после того, как снесли дом на улице Гарая, издательство «Прокруст», не убоившись длины грандиозной поэмы, выпустило в продажу подборку «аргентинских фрагментов». Что было дальше, излишне говорить: Кардос Архентино Данери получил вторую Национальную премию по литературе^[107]. Первую дали доктору Аите; третью — доктору Марио Бонфанти; трудно поверить, но мое произведение «Карты шулера» не получило ни одного голоса. Еще раз победили тупость и зависть! Мне давно не удастся повидать Данери, газеты оповещают, что вскоре он нас одарит еще одной книгой. Его удачливое перо (которому теперь уже не мешает Алеф) принялось за стихотворное переложение творений доктора Асеведо Диаса.

Я хотел бы еще сделать два замечания: одно касающееся сущности Алефа, другое — его названия. Что до последнего, то, как известно, это название первой буквы в алфавите священного языка. Применение его к шарiku в моей истории, по-видимому, не случайно. В каббале эта буква обозначает Энсоф — безграничную, чистую божественность; говорится также, что она имеет очертания человека, указывающего на небо и на землю и тем свидетельствующего, что нижний мир есть зеркало и карта мира горнего; в Mengenlehre^[108] Алеф — символ трансфинитных множеств, где целое не больше, чем какая-либо из частей. Хотелось бы мне знать, подобрал ли Карлос Архентино это название сам или же вычитал его как наименование какой-то другой точки, где сходятся все точки, в одном из бесчисленных текстов, открывшихся ему благодаря его домашнему Алефу. Как ни покажется невероятным, я полагаю, что существует (или

существовал) другой Алеф и что Алеф на улице Гарая — это фальшивый Алеф.

Приведу мои доводы. Капитан Бертон исполнял до 1867 года обязанности британского консула в Бразилии: в июле 1942 года Педро Энрикес Уренья обнаружил в библиотеке города Сантуса его рукопись, трактующую о зеркале, владельцем которого Восток называет Искандера Зу-л-Карнайна, или Александра Двурогого Македонского. В зеркале этом отражалась вся вселенная. Бергон упоминает о родственных диковинах — о семикратном зеркале Кай Хусроу, которое Тарик ибн-Зияд обнаружил в захваченном дворце («Тысяча и одна ночь», 273), о зеркале, которое Лукиан из Самосаты видел на Луне («Правдивая история», 1, 26), о волшебном копье Юпитера, о котором говорится в первой книге «Сатирикона» Капеллы, об универсальном зеркале Мерлина, «круглом, вогнутом и похожем на целый стеклянный мир» («Королева фей», III, 2, 19), — и прибавляет следующие любопытные слова: «Однако все перечисленные зеркала (к тому же не существовавшие) — это всего лишь оптические приборы. А правоверным, посещающим мечеть Амра в Каире, доподлинно известно, что вселенная находится внутри одной из колонн, окаймляющих центральный двор мечети... Разумеется, видеть ее не дано никому, но те, кто прикладывают ухо к колонне, говорят, что вскоре начинают слышать смутный гул движения вселенной... Мечеть сооружена в VII веке, но колонны эти были взяты из других храмов доисламских религий, как пишет о том Ибн Хальдун: „Государства, основанные кочевниками, нуждаются в притоке чужестранцев для всевозможных строительных работ“».

Существует ли этот Алеф внутри камня? Видел ли я его, когда видел все — а потом забыл? Память наша подтачивается забвением — я сам, под действием роковой этой эрозии, с годами все больше искажаю и утрачиваю черты Беатрис.

Послесловие

Кроме «Эммы Цунц» (ее великолепный замысел, намного превосходящий несовершенное исполнение, был подарен мне Сесилией Инхеньерос) и «Истории воина и пленницы», где предпринята попытка объяснить два подлинных случая, новеллы этого сборника являются вымыслами. Из всех новелл наиболее тщательно отделана первая; ее основа — ощущение, какое может вызвать в человеке идея бессмертия. За этим нравоучительным для бессмертных наброском следует «Мертвый»: герой данного рассказа Асеведо Бандейра — уроженец Риверы либо Серро-Ларго и, кроме того, жестокий идол, невежественный мулат — подобие несравненного Воскресенья Честертона. (В XXIX главе «Decline and Fall of the Roman Empire»^[109] рассказывается о человеке с почти такой же судьбой, как у Оталоры, но более величественной и невероятной.) О «Богословах» скажу только, что это — сновидение, довольно грустное сновидение, по поводу тождества человеческого; о «Биографии Тадео Исидоро Круса», что это одна из вариаций «Мартина Фьерро». Картина Уотса, созданной в 1896 году, я обязан «Домом Астерия» и описанием внешности несчастного главного героя. «Вторая смерть» — фантазия на тему времени, созданная мной после чтения Петра Дамиани. В годы последней войны, вероятно, никто более, чем я, не желал поражения Германии; никто более, чем я, не ощущал трагизма немецкой нации; «Deutsches Requiem»^[110] стремится осознать эту судьбу, ее не сумели ни оплакать, ни даже обозначить наши «германофилы», которые знать ничего не знают о Германии. «Письмена Бога» — цепочка рассуждений; ягуар заставил меня вложить в уста «мага пирамиды Кахолома» доводы каббалиста или теолога. В «Заире» и в «Алефе», полагаю, заметно некоторое влияние рассказа «The Cristal Egg»^[111] (1899) Уэллса.

Х.Л.Б.

Буэнос-Айрес, 3 мая 1949

Постскриптум 1952 года. При переиздании сборника включаю в него еще четыре новеллы. «Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте», несмотря на свое громоздкое название, не остается (уверяют меня) в памяти. Эту новеллу можно считать вариацией на тему «Двух царей

и двух их лабиринтов», включенных переписчиками в «Тысячу и одну ночь» и исключенных благоразумным Галланом. Об «Ожидании» скажу, что эта новелла появилась на свет благодаря одному полицейскому сообщению — его прочитал мне Альфредо Доблас лет десять назад, когда мы с ним классифицировали книги согласно руководству Брюссельского библиографического института; из этого пособия я не помню ничего, кроме того, что цифра 231 соответствовала Богу. Главным героем полицейского сообщения был турок; я сделал его итальянцем — так мне было легче его прочувствовать. На улице Парана в Буэнос-Айресе я часто и мельком видел один стоящий в глубине дом — он натолкнул меня на мысль написать историю, которая называется «Человек на пороге»; я перенес ее в Индию для того, чтобы неправдоподобие истории стало более приемлемым для читателя.

Х.Л.Б.

notes

Примечания

Соломон рек: «Ничто не ново на земле». А Платон домыслил: «Всякое знание есть не что иное, как воспоминание»; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое.

Френсис Бэкон. Опыты LVIII

Картафил — персонаж христианской легенды позднего средневековья; отказал в кратком отдыхе Христу, восходящему на Голгофу, за что был обречен скитаться до второго пришествия. Впервые упомянут в «Большой хронике» Матвея Парижского (ок. 1250).

Портрет эстета-интеллектуала, ведущего замкнуто-созерцательный образ жизни; объединяет Дез'Эссента («Наоборот» Гюисманса), Эдмонда Тэста («Вечер с Эдмондом Тэстом» Валери) и Фунеса («Фунес памятливей» Борхеса).

Речь идет о диалекте сефардов, т. е. испанском варианте еврейского языка; после изгнания евреев из Испании (1492) большая группа их переселилась в Грецию.

Диалект португальской колонии в китайской провинции Квантун, где, по преданию, классик португальской литературы Луис де Камоэнс завершил работу над «Лузиадами».

Т. е. бога царства мертвых.

Мотив поиска священной реки переиначивает магистральный сюжет романа Киплинга «Ким» (1900): один из его персонажей ищет реку, воды которой избавляют человека от бесконечных перерождений души.

Гетулия — Область на северо-западе Африки.

Имеется в виду район между Ливией и Красным морем, скорее всего Южная Эфиопия; по мнению Аристотеля, Диодора Сицилийского, в пещерах обитали полулюди-полуживотные. Ксенофонт считал родиной троглодитов Армению.

В греческой мифологии последняя, самая страшная часть подземного царства, окруженная рекой Флегетон; в ней томятся Тантал, Титий, Сизиф.

Гомер. Илиада. Песнь II.

Возможно, Борхес пользуется именем Галла Руфа, героя стихотворения «Метемпсихоз» Рубена Дарио.

Архитектурные постройки с нарочитым искажением симметрии и классических пропорций впервые были запечатлены Джамбаттистой Пиранези (1720–1778) в серии гравюр «Тюрьмы, сконструированные Пиранези»; идея архитектурной бесконечности, размыкающей пространство гравюры (вместе с винтовой лестницей, уводившей в беспредельность) использована также и в новелле «Вавилонская библиотека».

Т.е. из области на востоке Греции.

Кибела — в греческой мифологии — покровительница государственного благосостояния, богиня плодородия. Иногда отождествляется с «матерью богов».

Речь идет о «Батрахомиахии», греческом ирои-комическом эпосе, пародирующем «Илиаду». Написан не ранее V в. до н. э., иногда приписывается Гомеру.

«*Песнь о моем Сиде*» (ок. 1140) — Испанская героическая поэма, сохранилась в рукописи 1307 г.; идеализирует как христианского героя крупнейшего испанского воина-авантюриста Родриго де Бивара (1040–1099), сражавшегося и на стороне мавров, и на стороне христиан.

«*Эклоги*» — т. е. «Буколики» Вергилия.

Стэмфордбридж. близ Йорка — место сражения между отрядами норвежского короля Харальда Сигурдарсона, который погиб в этом бою 25 сентября 1066 г., и войсками последнего англосаксонского короля Гарольда Годвинсона; последний погиб позднее, в битве при Гастингсе в октябре того же года, сражаясь с норманнскими войсками Вильгельма Завоевателя (ок. 1027–1087); у Борхеса оба эти события соединены.

Биканер — Город в Западной Индии.

Коложвар — Город в Венгрии, ныне Клуж (Румыния).

Абердин — Город-порт в Шотландии.

Джамбаттиста- Имеется в виду Джамбаттиста Вико.

«Патна» — Судно из романа Джозефа Конрада «Лорд Джим», на котором из Бомбея отправляются 800 мусульман, совершающих паломничество в Мекку.

В рукописи здесь вымарка, возможно, вычеркнуто название порта.

Между прочим (*лат.*)

Эрнесто Сабатто предполагает, что Джамбаттиста, обсуждавший происхождение «Илиады» с антикваром Картафилом, есть Джамбаттиста Вико; этот итальянец отстаивал мнение, будто Гомер — персонаж мифологический, подобно Плутону или Ахиллу.

Спасаясь из пещеры циклопа Полифема, Одиссей (Улисс) называет себя Никто, чтобы циклоп не смог использовать против него знание его имени (Одиссея. IX, 369).

Здесь: «Лоскутное покрывало» (*англ.*). Так в английской традиции называется праздничная накидка (кетонет), которую Иаков дарит Иосифу в знак благословения (Быт. 37:3) и которую срывают с него братья, бросая в колодезь (37, 23).

(от лат. cento — одеяние из лоскутов) — стихотворение, сложенное из заимствованных строк; в античности материалом для центонов служили произведения Гомера и Вергилия. С этим мотивом «лоскутности» сопоставимо греческое название жанра средневековых сборников — «строматы», среди которых наиболее известен часто цитируемый Борхесом труд Климента Александрийского.

В письме от 6 июля 1647 г. приводится поверье эфиопов об умении, но нежелании обезьян говорить, чтобы люди не принудили их работать.

«О Граде Божьем» (*лат.*). О Граде Божьем. Кн. XII. Гл. 12–13.

Аквилеи- речь идет о столице Венетии (Северная Италия); разгромлена гуннами под предводительством Атиллы в 452 г.

Колесо и Змея — возможно, аллюзия на Уробороса (змея, кусающая себя за хвост) — эзотерический символ, почитавшийся гностиками и позже алхимиками. Трактовался как знак бесконечного взаимоперехода всех мировых сущностей, тайно отрицающий телеологическую перспективу мира.

«О седьмой любви Бога или о вечности» (лат.)

Т. е. силой; в греческой мифологии разбойник Прокруст укладывал путешественников на ложе: если ложе оказывалось для гостей коротким, он отрубал им ноги, если длинным — вытягивал их. Овидий рассказывает о нем в VII книге «Метаморфоз».

«Отрицаю» (лат.)

«С другой стороны» (*лат.*)

«Никоим образом» (*лат.*)

солецизмы — т. е. синтаксические ошибки; этимологически восходит к городу Сол в Греции, утратившему чистоту греческого языка.

Соединение двух цитат из труда Августина «О Граде Божьем» (XII, 17 и XII, 20).

Иксион — в греческой мифологии — фессалийский царь, первый убийца. Возмечтав о Гере, он зачал кентавров от облака, которому Зевс придал очертания Геры. Зевс поразил его громом и велел Гермесу привязать его в Аиде к безостановочно вращающемуся колесу, увитому змеями. Сюжет изложен в V в. до н. э. Пиндаром во II Пифийской оде.

«О началах» (лат.)

«Первые Академики» (*лат.*)

Свет природы (*лат.*)

В рунических крестах переплетены и сочетаются оба враждебных символа.

ариане — еретическая секта, сложилась вокруг священника александрийского круга Ария (250–336); отстаивает «монархический» приоритет Отца перед Сыном, представляет Христа как не обладающий бессмертием инструмент божественного плана спасения и творения, разрывает единство и целостность Троицы.

Имеется в виду трактат об устройстве мира путешественника VI в. Космы Индикоплевса (т. е «плователя в Индию»), важный источник географических знаний раннего средневековья.

Контаминация христианской ереси и восточной религии; зеркало
обычно помещают в центре синтоистского храма.

В произведениях Томаса Брауна такой цитаты нет.

Речь идет об осмеянии восточных культов: «по ночам обряжал посвящаемых в оленьи шкуры, разливал им вино из кратеров, очищал и обтирал их грязью и отрубями...» (О венке. Речь за Ктесифона, 259).

Вымышленная Борхесом секта предвосхищает теорию и практику провансальского альбитойства (IX–XII вв.).

«Против ануляров» (*лат.*)

«Помпеи» (77–79).

Он ради нас пренебрег милыми сердцу родными (*лат.*)

Эти стихи приводит и Гиббон («Decline and Fall» «Упадок и разрушение» (*англ.*), XLV).

Ликом ужасен он был, но благожелателен духом,
С долгой своей бородой, павшей на мощную грудь (*лат.*)

С точки зрения вечности (*лат.*)

Он ради нас пренебрег милыми сердцу родными, Новой отчизной
своей нашу Равенну признав *(лат.)*

Искать мне, истощая зренье,
Свой лик до миротворенья.

Йейтс «Блуждающая звезда» (англ.)

В оригинале — «четырнадцать», но более чем достаточно оснований считать, что в устах Астерия это числительное означает «бесконечность».

«Прошлое» (*англ.*)

«О всемогуществе» (*лат.*)

Примечательно, что рассказчик не упоминает самого известную из своих предков — теолога и гебраиста Иоханнеса Форкеля (1799–1846), применившего гегелевскую диалектику к исследованию христианства, чьи переводы нескольких апокрифов вызвали критику Хенгстенберга и одобрение Тило и Гезениуса. — *Прим. публикатора.*

Речь идет о Сэмюэле Джонсоне.

«Расплата со Шпенглером» (нем.)

Иные нации живут в полной невинности, в себе и для себя, подобно минералам или метеорам; Германия — это всеобъемлющее зеркало вселенной, сознание мира (Weltbewusstsein). Гёте — прототип нашей вселенской отзывчивости. Я не критикую его, но при всем желании не узнаю в нем фаустианского человека модели Шпенглера.

«*De rerum natura*» — «О природе вещей», натурфилософское сочинение энциклопедического характера Тита Лукреция Кара.

возможная контаминация библейских цитат в духе протестантской доктрины изначального предопределения. Ср.: «От Господа направляется шаг наш» (Притч. 20:24); «Исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2:13).

Есть сведения, что последствия этого ранения были куда серьезней. —
Прим. публикатора.

Шопенгауэр. Parerga und Paralipomena (§ 177. С. 332 и далее).

Ницше. Так говорил Заратустра. Ч. IV. Гл. «Знамение» (*Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 237).

Здесь: «Современная поэзия» (нем.)

Так называли испанских евреев, изгнанных в 1492 г. из Испании по приказу католических королей; «Сефард» по-еврейски означает «Испания».

Здесь мы вынуждены опустить несколько строк. — *Прим. публикатора.*

Ни в архивах, ни в печатных трудах Зёргеля имени Иерусалема не встречается. Нет его в историях немецкой литературы. Не думаю, однако, что этот герой вымышлен. По приказу Отто Дитриха цур Линде были казнены многие интеллектуалы еврейского происхождения, среди них — пианистка Эмма Розенцвейг. «Давид Иерусалем», вероятно, символ многочисленных судеб. Сказано, что он погиб первого марта 1943 года; как помним, первого марта 1939-го рассказчик был ранен в Тильзите. — *Прим. публикатора.*

Автоцитата Борхеса; в эссе «От аллегорий к романам» говорится, что, по мысли Колриджа, все люди рождаются «либо аристотеликами, либо платониками... Пересекая времена и пространства, бессмертные антагонисты меняют имя и язык: первый различим в Пармениде, Платоне, Спинозе, Канте, Фрэнсисе Бредли; второй — в Гераклите, Аристотеле, Локке, Юме, Уильяме Джеймсе» (ОС, 745).

Полагая, что трагедия есть не что иное, как искусство восхваления...
(франц.).

улемы (точнее, *улама*) — сословие мусульманских богословов, толкующих законы шариата. Противопоставляется суфиям, толкующим законы мусульманской метафизики.

Аристотель. Поэтика. § 6 (1449 в 23–29); с X по XIV в. этот трактат был известен в Европе только по краткому изложению Аверроэса (1174) в переводе Генриха Алеманна.

«Книга-словарь» (араб.)

Речь идет об опровержении чудес, достоверность которых не может быть подтверждена свидетельством летописцев (Юм Д. Диалоги о естественной религии. Гл. X. Ч. 2).

Под этим именем в истории арабов известен халиф Багдада второй половины VII в

Имеется в виду диалог Платона «Государство»; на арабский его перевел в IX в. Хунайя ибн-Исхак.

(Иез. 38:39); в арабской традиции — Иаджуж и Маджуж (Коран. 18:82 — 102) — т.е. противостоять апокалипсической войне конца времен; речь идет о персонажах эсхатологической иудеохристианской и арабской мифологии, предводителях огромного войска и врагах рода человеческого; в битве с ними на стороне избранного народа выступит бог Яхве.

«*Муаллакат*» — точнее, «Ал-Муаллакат» («Драгоценности»), свод семи касыд, принадлежащих семи крупнейшим доисламским авторам; классическое произведение ранней арабской поэзии; составлен Ахмадом ар-Равийей ок. 900 г. и введен в литературный канон ибн-Раббихой.

Поместье Абдар-Рахмана.

От араб.: Захир (*искаж.*)

То есть (*лат.*)

Свидетельства к истории сказаний о Заире (нем.)

Исповедь душиителя (англ.)

Так Тейлор пишет это слово. — *Прим. автора*

Барлах замечает, что Йаук упоминается в Коране (71, 23), что пророк тот — Аль-Моканна («Под Покрывалом»), однако никто, кроме удивительного собеседника Филиппа Медоуза Тейлора, не связывал их с Заиром. — *Прим. автора.*

В стихотворении в прозе «Притча во дворце» (сб. «Делатель») метафорой «Слово Вселенной» (ОС, 802) вводится идея равенства Бога и Культуры, вечно желаемой, но никогда не достижимой утопии.

Эта находка Борхеса весьма близка к мистифицирующим реальность сюжетам «Рукописи, найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого, ни разу у Борхеса не упомянутой

Намек на антропологическую концепцию Ортеги-и-Гассета («я — это я и мои обстоятельства»), которая здесь подвергается критике в духе Юма («идея нашего Я не может происходить ни от этих, ни от каких-либо других впечатлений, а следовательно, такой идеи вообще нет» (Трактат о человеческой природе. Ч. IV. Гл.6) Идея Ортеги сформулирована в его «Размышлениях о Дон Кихоте» (Meditaciones del Quijote. Habana. 1964. Н. 41)

С разбитой головой лежит могучий лев, С разбитой толовой лежит и раб, и царь (*англ.*)

Эту историю ректор и поведал с кафедры, см. стр. 295.

За Авророй и Гангом (*лат.*)

О Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скорлупе и считать себя царем бесконечного пространства (англ.; пер. М. Лозинского).

Но они хотят учить нас. что вечность есть застывшее настоящее, Nunc-stans (застывшее теперь), как называют это школы; и этот термин как для них самих так и для кого-либо Другого не более понятен, чем если бы они обозначали бесконечность пространства словом Hic-stans (застывшее здесь) (англ.; пер под ред. А. Ческиса).

Вокруг собственной комнаты (*фр.*)

Шутка (*um.*)

Вспоминаю, однако, сатирические строки, в которых он беспощадно бичует плохих поэтов: У одного словес ученых пустота, Другой слепит, гремят мишурными стихами, Но оба лишь зазря без толку бьют к рылами, Забыли, что важнейший фактор — КРАСОТА! Лишь опасение породить полчища беспощадных и влиятельных врагов удержало его (говорил он мне) от безоглядной публикации поэмы.

Мимоходом (фр.)

Самим фактом (лат.). Здесь: возмещение.

Многое в малом (*лат.*)

«Я получил Ваше вымученное поздравление, — писал он мне. — Жалкий мой друг, Вы лопаетесь от зависти, но Вы должны признать — хоть убейтесь! — что на сей раз я сумел украсить свой берет самым ярким пером и свой тюрбан — халифом всех рубинов».

Теория множествa (нем.)

«Упадок и разрушение Римской Империи» (*англ.*)

«Немецкий реквием» *(нем.)*

«Хрустальное яйцо» (англ.)